

Великие
биографии



«Мой муж —
Осип Мандельштам»

Все мы были овцами, которые дуют
себя резать, или почтительными
помощниками палачей, потому что
не хотели переходить в отряд овец.
Почему О. М. покорно пошёл за
солдатами, а я не бросилась на них,
как зверь?

Надежда
Мандельштам



Надежда Яковлевна Мандельштам
Мой муж – Осип Мандельштам
Серия «Великие биографии»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6603663

Мандельштам, Надежда Яковлевна Мой муж – Осип Мандельштам : АСТ; Москва; 2014

ISBN 978-5-17-078559-9

Аннотация

Из-за воспоминаний Надежды Мандельштам общество раскололось на два враждебных лагеря: одни защищают право жены великого поэта на суд эпохи и конкретных людей, другие обвиняют вдову в сведении счетов с современниками, клевете и искажении действительности!

На Западе мемуары Мандельштам получили широкий резонанс и стали рассматриваться как важный источник по сталинскому времени.

Содержание

Часть 1. Мы	4
Потрава	4
«Мы»	10
Распад	14
В пути	18
Чад небытия	23
Жилплощадь в надстройке	27
В преддверье	34
Первые ссоры	39
Обрывки воспоминаний	45
Медовый месяц и кухарки	49
Промежуток	58
Нищий	62
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Надежда Мандельштам

Мой муж – Осип Мандельштам

Часть 1. Мы

Потрава

Я не люблю свою раннюю молодость. У меня ощущение, будто по колосящемуся полю бежит огромное стадо – происходит гигантская потрава. В те дни я бегала в одном табунке с несколькими художниками. Кое-кто из них вышел потом в люди. У нас были жесткие малярные кисти, мы тыкали их в ведра с клеевой краской и размазывали грубыми пятнами невероятные полотнища, которые потом протягивали поперек улицы, чтобы под ними прошла демонстрация. Развешивали полотнища ночью. Художники с домоуправом – они возникли с приходом «красных», как тогда говорили, словно грибы после дождя, – врывались в чужие квартиры, распахивали окна и балконные двери и, переругиваясь со стоявшими внизу помощниками, крепко привязывали свое декоративное произведение к балконной решетке. Девочки в ночных играх не участвовали, а мальчишки поутру со смехом рассказывали подружкам, как пугались жители злосчастных квартир, когда орава во главе с управдомом ломилась среди ночи в квартиру.

Марджанов ставил пьесу испанского классика: деревня взбунтовалась против сеньора, потому что он нарушил старинные права. Народ побеждает, женщины вздымают руки над головами и ритмически поводят боками, актеры кричат хором: «Вся власть советам», а зрительный зал ревет от восторга. Для апофеоза художник Исаак Рабинович придумал неслыханное изобилие: через всю сцену протягивалась гирлянда бутаторских фруктов, овощей, рыбных и птичьих тушек подозрительно фаллического вида. Овация нарастала. Исаак выходил раскланиваться. Он вел за руку двух своих помощниц: одна была я, другая – моя подруга Витя, служившая раньше подмалевком у Экстер. Это мы с Витей раскрашивали фруктообразные фаллосы, уточняя форму, халтурно сделанную в бутаторской. Нас забрасывали грудами дешевых киевских роз, и мы выходили из театра с огромными охапками, а по дороге домой розы теряли бледные лепестки, но бутоны, к счастью, сохранялись.

Нас занимали то театральными постановками, то плакатами, и нам казалось, что жизнь играет и кипит. На первый выданный аванс мальчишки купили кошельки – до этого у них не было ни денег, ни кошельков. Мы проедали деньги в кофейнях и в кондитерских. Они открывались на каждом шагу – бежавшие с севера настоящие дамы пекли необычайные домашние пирожки и сами обслуживали посетителей. Плакатных денег хватало на горы пирожков: ведь мы переживали период романа наших хозяев с левым искусством, а мой табунок был левее левого. Мальчишки обожали «Левый марш» Маяковского, и никто не сомневался, что вместо сердца у него барабан. Мы орали, а не говорили, и очень гордились, что нам иногда выдают ночные пропуска и мы ходим по улицам в запретные часы. Если мы забывали захватить пропуск, патрули, увидав наши кисти, мирно пропускали нас дальше по пустым улицам. Кисть служила пропуском не хуже бумажки, выданной комендантом, а в патрулях тоже расхаживали мальчишки, вооруженные, правда, винтовками и наганами. Они стреляли, а мы малевали...

В наш дружный табунок постепенно просачивались гости с севера. Одним из первых появился Эренбург. Он на все смотрел как бы со стороны – что ему оставалось делать после «Молитвы о России»? – и прятался в ироническое всепонимание. Он уже успел сообразить,

что ирония – единственное оружие беззащитных. У молодых да еще левых художников был блаженный дар – не знать, что они беззащитны. Мы бегали под выстрелами и прятались в подворотнях. С девятнадцатого года беспорядочная стрельба на улицах почти вывелась, а город обстреливался пятидюймовками перед сменой власти. К этому мы почти что привыкли.

По вечерам мы собирались в «Хламе» – ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. «Хлам» помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось пристроиться в их поезде, и ему по недоразумению отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в «Хламе», и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали первое мая девятнадцатого года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. В тот период мы и не чувствовали себя связанными, но уже тогда в нас обоих проявились два свойства, сохранившиеся на всю жизнь: легкость и сознание обреченности.

На этаж ниже в той же гостинице поселили Мстиславского. У него на балконе всегда сушились кучи детских носочков, и я удивлялась, зачем это люди заводят детей в такой заварухе. Мстиславский заглядывал в чужие номера и повествовал об аресте царя. Он всегда напоминал, что он рюрикович, и подчеркивал древность своего рода по сравнению с Романовыми. Мандельштам морщился.

Юность ни во что не вдумывается. Тревога и озабоченность старших нас не трогали. Мрачные старики, наши родители, шли к гибели, а дети веселились. Огромная толпа приехавших с севера, уже в полной мере познавшая голод и разруху, откармливалась на хлебах еще не разоренной Украины и спешила нагулять побольше жиру, прежде чем снова откатиться назад. Деньги падали медленно, и люди, которые привезли из Москвы груды ничего не стоящих бумажек, ликовали, покупая на них полноценные продукты.

Мандельштам, такой же веселый, как все, чем-то от других отличался. Наша внезапная дружба почему-то вызвала общее раздражение. Ко мне ходили мальчишки и уговаривали меня немедленно бросить Мандельштама.

Однажды Эренбург долго водил меня по улицам и доказывал, что на Мандельштама никак нельзя положиться: если хочешь в Коктебель, – мы все хотели на юг, действовала таинственная тяга, – прочь от дому куда-нибудь южнее, – поезжай к Волошину, это человек верный – с ним не пропадешь... Я знала, что Эренбург сам мечтал удрать к Волошину и спрятаться за ним, как за каменной стеной. Откуда у Волошина была такая слава, я не знаю, но думаю, что он сам создал про себя легенду и ее поддерживали окружавшие его женщины, а легенды – вещь живучая. А на «ты» с Эренбургом мы перешли случайно, шутки ради, встречая вместе девятнадцатый год. Он звал меня Надей, а я его почтительно по имени-отчеству. Пути наши разошлись, но добрые отношения сохранились – особенно с его женой Любой. Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей. «Люди, годы, жизнь», в сущности, единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране. Его читатели, главным образом мелкая техническая интеллигенция, по этой книге впервые узнали десятки имен. Прочтя ее, они быстро двигались дальше и со свойственной людям неблагодарностью тут же отказывались от того, кто открыл им глаза. И все же толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе – хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал свое дело, а дело это трудное и неблагодарное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стали читателями Самиздата.

Что же касается до советов Эренбурга в девятнадцатом году, то я к ним, конечно, не прислушалась и весело его высмеивала, изображая в лицах, как он меня поучает. Боюсь,

что, кроме братьев Маккавейских, моих чудачливых и добрых приятелей, все мои слушатели были на стороне Эренбурга. А насчет Мандельштама я уже догадывалась, что его легкомыслие не похоже на легковесность моих друзей. Он говорил иногда вещи, которых я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многого из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла, но потом, когда я уже стала кое-что понимать, он больше об этом не заговаривал. У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни. Тогда убивали на каждом шагу, и я склонялась к мысли, что смерть просто нелепая случайность.

Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. Это интересовало его тогда больше всего. Он слышал, что узнавание психологически необъяснимо, но для него вопрос стоял шире. Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них, так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется твоя судьба. Говорил он со мной очень осторожно – приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие, и я чувствовала его и в стихах, но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали. Целомудрие, душевное, физическое – любое, если б они с ним столкнулись, показалось бы им чем-то вроде вывиха или перелома кости. Только цинизмом среди них и не пахло. Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое изречение Никулина: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги...» Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина. Карнавальный Киев девятнадцатого года любил марджановскую постановку, левизну во всем – в политике, в речах, в мысли и особенно в любви. Впрочем, это была не любовь и не мысль, а какие-то обрубки.

А я рассказала Мандельштаму, как мне случилось позировать мальчику-скульптору по фамилии Эпштейн. Он жил высоко на Лютеранской улице в барской квартире, покинутой хозяевами. В его комнате я впервые столкнулась с неприкрытой нищетой: небранная койка с рваной тряпкой вместо простыни, а на столе – жестяная кружка для чаю. Не знаю, что случилось с этим Эпштейном, но бюст свой я потом увидела в киевском музее. Вряд ли он там уцелел: портрет еврейской девочки работы еврейского скульптора – слишком тяжелое испытание для интернационалистов Украины.

Однажды Эпштейн прервал работу и подозвал меня к окну. Мимо нас по пустырю солдаты вели спотыкающегося измученного человека с большой белой бородой. Эпштейн объяснил, что для этого человека, киевского, что ли, полицмейстера, придумали особую пытку – его ежедневно ведут на расстрел, приводят, не расстреливают и отводят обратно в тюрьму. С ним сводят счеты за то, что он был жесток в преследованиях революционеров. Это совсем не старый человек, а волосы у него поседели от пытки... Эпштейн, еврейский мальчик, которого этот полицмейстер, будь он у власти, не пустил бы учиться в Киев, не мог примириться с жестокостью мстителей (я не помню, при какой власти это происходило – при украинцах или при красных, – каждая старалась перещеголять другую). Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я никогда не могла понять, как Маяковский, настоящий художник, мог говорить зверские вещи. Вероятно, он настраивал себя на такие слова, поверив, что это и есть современность и мужество. Слабый по природе, он тренировал свою хилую душу, чтобы не отстать от века, и за это поплатился. Я надеюсь, спросят не с него, а с искусителей. Мандельштам, тоже еврейский мальчик с глубоким отвращением к казням и пыткам, с ужасом говорил о гекатомбах трупов, которыми «они» ответили на убийство Урицкого. Все

виды террора были неприемлемы для Мандельштама. Убийцу Урицкого, Каннегисера, Мандельштам встречал в «Бродячей собаке». Я спросила про него. Мандельштам ответил сдержанно и прибавил: «Кто поставил его судьей?» Мальчиком под влиянием Бориса Синани он верил, что «слава была в б. о.», и даже просился в террористы (для этого ездил в Райволу, как рассказано в «Шуме времени», но не был взят по малолетству). Потом отношение к террору начисто переменилось. Я запомнила разговор с Ивановым-Разумником в середине двадцатых годов. Он тоже жил в Детском Селе, и однажды мы к нему зашли. За несколько дней до нашей встречи в «Деловом клубе» в Ленинграде взорвалась бомба. Иванов-Разумник был по этому поводу в приподнятом настроении и очень удивился, что Мандельштам не разделяет его радости. Наконец он прямо спросил, чем объясняется такое равнодушие к столь важному событию: «Значит, вы против террора?» Мандельштам, разговаривая о мировоззренческих вещах, не имевших отношения к поэзии или философии, всегда как-то тускнел. Искренно удивленный, Иванов-Разумник осведомился, как Мандельштам расценивает подвиги террористов прошлого, казнь Александра Второго, например, и преисполнился чем-то очень похожим на презрение, узнав, что Мандельштам последовательно отрицает всякий террор, против кого бы он ни направлялся. Как это ни странно, но в те годы отрицание террора воспринималось как переход на позиции большевиков, поскольку они отказывались от террора как от метода революционной борьбы. Иванов-Разумник, вероятно, так и понял Мандельштама, хотя для полноты информации ему не мешало узнать, как тот относится к государственному террору, который мы успели узнать на опыте. А я во время этого разговора молчала и огорчалась: опять наткнулись на чужого, все почему-то чужие, и зачем Мандельштам не смягчает чуждость – что ему стоило уклониться от ответа или пробурчать что-нибудь неопределенное? – надо ли всюду и всегда подчеркивать свою чуждость вместо того, чтобы срезать острые углы... В молодости так хочется гармонии и розовых отношений с людьми. Непримируемость Мандельштама утомляла и тяготила мое незрелое сознание...

Мандельштам покупал и просматривал издания Центрархива, и среди них было много книг с делами террористов. О казненных говорить плохо он не стал бы, но его всегда удивляла скудость и ограниченность этих людей. (Мне хотелось бы, чтобы Кибальчич составлял исключение, но его дело, кажется, никогда не издавалось. Во всяком случае, мы его не видели.) Террор, как бы он ни проявлялся, был Мандельштаму ненавистен.

А в дни нашей ранней близости, в Киеве девятнадцатого года, Мандельштам был, пожалуй, единственным, который думал о смысле событий, а не об их непосредственных последствиях, как старшие, и не о пестрых проявлениях «нового», как молодые. Старших беспокоят существенные вещи: развал правовых норм и понятий, крушение государственности и хозяйства, младшие упивались тем, что отцы называли демагогией, с какой бы стороны она ни шла, и запоминали про запас случаи, которые так или иначе собирались потом использовать, а пока что жадно впитывали то, что ощущалось как последний день. Мы иногда раскрывали газеты, но не могли их читать, потому что уже тогда началось бурное воспитание народа и для этого разрабатывался особый язык постановлений, речей и прессы.

Однажды Мандельштам мне сказал, что «они» строят свою партию на авторитете наподобие церкви, но что это «перевернутая церковь», основанная на обожествлении человека. Разговор происходил в ванной комнате, обложенной кафелем, с двумя окнами и белой печкой. Он вытирал руки и вдруг заметил, где он: «Станный разговор для такого места»... Мысль настигла его в неподходящем месте и в неподходящую минуту: мы спешили поужинать, чтобы потом пойти в «Хлам».

Под самый конец, когда большевики перед уходом расстреливали заложников, мы увидели в окно – к этому времени Мандельштама уже выгнали из гостиницы и он жил с братом в кабинете моего отца – телегу, полную раздетых трупов. Они были небрежно покрыты

рогожей, и со всех сторон торчали части мертвых тел. Чека помещалась в нашем районе, и трупы через центр вывозились, вероятно, за город. Мне сказали, что там был сделан желоб, чтобы стекала кровь, – техника еще была наивной. В другой раз солдаты провезли на телеге обросшего бородой человека с завязанными назад руками. Он стоял в телеге на коленях и вопил во весь голос, взывая к людям, чтобы они спасли, помогли, потому что его везут на расстрел. В тот год толпа могла отбить заключенного, но на улицах никого не было – комендантский час... Мы видели, как он отбивается от солдат, пытавшихся заткнуть ему рот. Все это промелькнуло и тут же исчезло, но я и сейчас вижу этого человека, только его, скорее всего, везли не на расстрел – расстреливали в самой Чека, на горе, а телега шла под гору. Думаю, его переводили в Лукьяновскую тюрьму, а может, даже в больницу.

Нам пришлось видеть из другого окна, выходившего на городскую Думу, как разъяренная толпа после прихода белых ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криком, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили нескольких женщин. Уже без Мандельштама – он успел уехать – город на несколько часов был захвачен красными. Они прорвались к тюрьме и выпустили заключенных, а затем красных выбили и отдали город на разграбление победителям. Жители охраняли дома и при появлении солдат били в медные тазы и вопили. Вой стоял по всем улицам. На улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны. Карнавал кончился и лишь изредка возникал потом в пестрых постановках московских театров. Кому нужен был этот карнавал или, вернее, потрава?

Я не поехала с Мандельштамом в Крым, но не потому, что поверила словам Эренбурга. Он собрался в несколько минут, воспользовавшись неожиданной оказией – на Харьков отправляли специальный вагон с актерами. Все власти любили актеров – красные и белые. Мандельштаму нужно было уехать из Киева, где его никто не знал, а он всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников любых цветов. Я обещала приехать в Крым с Эренбургами, но не решилась – за порогом дома лилась кровь. А насчет легкомыслия Мандельштама – я уже поняла, что это просто легкое прятие жизни. Он уже тогда знал, что уклониться нельзя ни от чего и надо принимать то, что есть. Он пытался привить и мне такое отношение к жизни, но на это способен не каждый. И не каждый может жить текущей минутой, как Мандельштам. Я не могла. «Лоном широкая палуба» казалась мне гораздо более приятным способом передвижения, чем напрасные усилия безвесельных гребцов. Не я одна тосковала по устойчивости. В нашей жизни все полвека устойчивость была иллюзорной. Устойчивые дома рушились один за другим. В нашу эпоху ничего устойчивого не было, и лозунг Ахматовой: «Сейчас надо иметь только пепельницу и плевательницу» – вполне себя оправдал.

Киев гражданской войны с его минутным карнавалом, трупами, которые вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города под вой обезумевших людей далеко не самое страшное из того, что я испытала в жизни. Это только прелюдия – потом стало гораздо страшнее.

Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Эренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес – нас успели выселить. В марте он приехал за мной – Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей, – это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат и просидели еще часа два в комнате,

уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне грудку стихов и сказал, что теперь уж наверное увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через две-три недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались, пока в ночь с первого на второе мая 1938 года его не увели конвойные. Мне кажется, он так не любил расставаться потому, что чувствовал, какой короткий нам отпущен срок, – он пролетел как миг.

«Мы»

В первую нашу встречу в Киеве девятнадцатого года у Мандельштама была почти детская доверчивость и вера во всеобщую дружбу и благожелательство. Ему понравился «Хлам» – почти как «Собака», люди хорошие и кофе хороший. «Хлам» вскоре закрылся, потому что буфетчику показалось невыгодным торговать турецким кофе и всякой дешевой дребеденью, и мы перекочевали в греческую кофейню на Софиевской улице. В окне кофейни был выставлен плакат «Настояща простокваша только наша». Хозяин молол кофе в огромной мельнице и удивлялся, откуда к нему привалило столько народу, а хозяйка пекла пирожки и всех дарила улыбками. Когда пришли белые, карнавал кончился и кофейня опустела. Хозяйка перестала улыбаться и целыми днями дежурила у дверей, чтобы изловить хоть кого-нибудь из прежних посетителей и выдать белым. Всех, кто принес мгновенный расцвет кофейне с настоящей простоквашей, она считала большевиками и люто ненавидела. Первым ей попался Эренбург, но сумел отвертеться. Он предупредил меня, чтобы я не ходила по Софиевской, но я опять не придавала значения его совету. В результате следующей попалась я, и недавно еще улыбчивая хозяйка требовала, чтобы я сказала, где тот, «с кем ты гуляла», потому что именно его она считала главным большевиком и мечтала немедленно растерзать, как терзали перед Думой рыжих женщин, заподозренных в том, что они-то и есть «чекистка Роза». У меня не было детской веры Мандельштама во всеобщее благожелательство, но я все же верила, что человеческая улыбка в чем-то соответствует душевному настрою того, кто улыбается. Даже примитивная вежливость, которая заставляла улыбаться людей старшего поколения, чем-то смягчала нравы. Она исчезла из нашей жизни после ожесточения гражданской войны, и ей не суждено вернуться на эту бедную землю.

Однажды в киевские дни Мандельштам таинственно сообщил мне: когда я пишу стихи, никто ни в чем мне не отказывает... Я подумала – «балованный» – и спросила: «Почему?» Объяснить он не мог: не знаю, но так получается... Я решила, что он жил среди людей, которые любили стихи и были рады доставить удовольствие носителю поэтического дара. Да и желания, как я уже знала, были у него легко выполнимые – вроде чашки кофе или пирожка. В Петербурге, вероятно, еще добывалась рублевка или трешка на «Собаку».

Через несколько лет в измученной и одичавшей нэповской Москве он остро почувствовал, как все изменилось. О просьбах и говорить нечего: все держали свою щепотку чаю или кофе запрятанной, и никто бы не поделился даже с другом коркой черствого хлеба. Изменилось и отношение к стихам. Слух у людей отупел, и требовались особые средства, чтобы пробиться сквозь их глухоту. Вышла «Вторая книга», приходили разные люди, просили надписать и что-то говорили, но во всех отzyвах, хвалебных и ругательных, нельзя было найти смысла: ум обленился и «задарма» работать не желал. В одной из статей Мандельштам написал о читателе, развращенном быстрой сменой поэтических школ и поколений: «...он приучается чувствовать себя зрителем в партере... морщится, гримасничает, привередничает...» А потом в стихах: «Еще меня ругают... на языке трамвайных перебранок, в котором нет ни смысла, ни аза...» Хвалили на том же трамвайном языке, и это еще хуже, чем брань... Он пересказывал мне, что услышал за день, и спрашивал: «Разве это так?» – и наконец догадался: «Они просто не любят стихов...» Что они вообще способны были любить? Люди, уцелевшие из поколений, действовавших в двадцатые годы, сейчас старики с самой позорной старостью, которые еще пытаются вмешиваться в текущую жизнь и останавливать медленный и скрипучий процесс выздоровления, если он действительно идет, а не мерещится моему сочувственному, а их испуганному взгляду.

Действительно ли те, которые не отказывали ни в чем молодому Мандельштаму, любили и понимали стихи? Скорее всего, большинство из них по обычаю своего круга про-

являли добросердечие и доброжелательство, а к стихам относились с добродушным сочувствием. Пока существует свой круг, своя деревня, свой поселок, любое сообщество, связанное привычкой, обычаем, корнями, традицией, люди вынуждены улыбаться друг другу, и эта улыбка все же чего-то стоит. Литература из кожи вон лезла, чтобы разоблачить ханжество, ложь, фальшь и даже тайные преступления внешне пристойных, гладеньких, улыбающихся людей, но счастливо общество, в котором приходится хотя бы скрывать низость и подлость. Одни скрывают, другие обуздывают и, может, даже уничтожают в себе гнусное, которого достаточно в каждом из нас. Может, самообуздание и есть единственное, на что мы способны, и осуществляется оно лишь среди людей и на людях. Одиночке все дается гораздо труднее.

В двадцатых годах корни были подрублены, и тайным законом стало: «все позволено», с которым всю жизнь боролся Достоевский. Своеобразие заключается в том, что общество, взятое в железные тиски, с огромной быстротой приведенное к тому, что у нас называется единомыслием, состояло из особей, которые занимались самоутверждением в одиночку или собираясь в небольшие группы. Группа возникала, если находился подходящий вожак, и тогда начиналась борьба между группами за правительственную лицензию. Так было во всех областях – далеко не только в литературе. Тот же механизм породил Марра, Лысенко и сотни тысяч подобных объединений, проливших слишком много крови. Такие объединения не свидетельствуют об общности, потому что состоят из индивидуалистов, преследующих свои цели. Они говорят про себя «мы», но это «мы» чисто количественное, множественное число, не скрепленное внутренним содержанием и смыслом. Это «мы» готово распасться в любой момент, если забрезжит другая, более заманчивая цель.

На наших глазах произошло распадение общества, несовершенного, как всякое человеческое объединение, но скрывавшего и обуздывавшего свои пороки и где все же существовали небольшие группы, имевшие право сказать про себя «мы». По моему глубокому убеждению, без такого «мы» не может осуществиться самое обыкновенное «я», то есть личность. Для своего осуществления «я» нуждается, по крайней мере, в двух элементах – в «мы» и, в случае удачи, в «ты». Я считаю, что Мандельштаму повезло, потому что в его жизни был момент, когда нашлись люди, с которыми он мог объединить себя словом «мы». Краткая общность с «сотоварищами, соискателями, сооткрывателями», как он сказал в «Разговоре о Данте», отразилась на всей его жизни, потому что помогла становлению личности. В том же «Разговоре о Данте» говорится, что время есть содержание истории, «и обратно: содержание истории есть совместное держание времени» теми, кто объединяется словом «мы». Если человек помнит, что он живет в истории, он знает, что несет ответственность за свои дела и поступки, а мысли человека определяют его поступки. Наши поколения – мое и мандельштамовское – на всех перекрестках кричали, что живут в историческое время, но полностью снимали с себя ответственность за все происходящее. Они списывали все преступления эпохи и свои собственные на детерминированность исторического процесса. Это очень удобная теория для раскулачивателей всех видов, но почему, собственно, приходится раскулачивать, если ход истории предопределен?.. Впрочем, я не хочу целиком обвинять все поколение Мандельштама – в нем были люди, дорого заплатившие за свое неверие в официальные догматы. В моем окружении я таких не замечала. Если такие и существовали, они держались тише воды, ниже травы и видны не были.

Я возвращаюсь к Мандельштаму и к людям, с которыми он совместно «держал время». Жирмунский мне говорил, что в Тенишевском, где они вместе учились, к Мандельштаму сразу отнеслись бережно и внимательно. Смерть Бориса Синани, первого друга, была, вероятно, большим ударом. Нам случалось иногда встречать людей, посещавших в юности «розовую комнату» в квартире Синани. Однажды какая-то женщина рассказала Мандельштаму про гибель Линде, комиссара Временного правительства, на фронте. Эта гибель опи-

сана Пастернаком в его «Докторе» и в воспоминаниях генерала Краснова. Не знаю, был ли Пастернак знаком с Линде (в романе его зовут Гинцем), но версия генерала Краснова гораздо больше похожа на рассказ, который я слышала на улице от старой приятельницы Мандельштама, Линде и Бориса Синани. О Линде Мандельштам вспоминал с уважением и нежностью, как обо всех, кто так или иначе был связан с его другом Борисом.

После смерти Бориса Синани Мандельштам провел целых два года за границей. Это период одиночества и стихов о юношеской тоске, неизбежном спутнике всякого юноши. Особенно одиноко он почувствовал себя в Италии, где прожил несколько недель даже не на положении студента, а туриста. Он всегда огорчался, что из-за юношеской внутренней смуты слишком мало видел и плохо использовал поездку.

Чувство обособленности исчезло только по возвращении в Петербург. В Териоках, куда он часто ездил отдыхать, Мандельштам познакомился с Каблуковым, кажется, секретарем Религиозно-философского общества. Сохранились дневники Каблукова, где он много пишет о Мандельштаме. Каблуков боролся с тягой Мандельштама к католичеству, хотел обратить его в православие, заставлял сдавать экзамены в университете, чего тот органически не умел, и, наконец, искренно огорчился, когда в стихах после романа с Мариной Цветаевой вдруг прорезался новый голос. Каблукову, как многим родным и духовным отцам, хотелось сохранить мальчика в его нетронутой юношеской серьезности. Мандельштам тянулся к Каблукову и, вероятно, много от него получил. Он невнятно объяснял мне, что в юности есть потребность, чтобы рядом был кто-то старший. Я не знаю, на сколько был старше Каблуков, но отец Мандельштама был еще жив, и он не мог открыто сказать, что ему не хватало отца.

Однажды Мандельштам без всякого предупреждения пришел к Мережковским. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат; тогда она с ним поговорит, а пока что – не стоит, потому что ни из кого не выходит толку. Мандельштам молча выслушал и ушел. Вскоре Гиппиус прочла его стихи и много раз через разных людей звала его прийти, но он заупрямился и так и не пришел. (Точно передаю рассказ Мандельштама.) Это не помешало Гиппиус всячески проталкивать Мандельштама. Она писала о нем Брюсову и многим другим, и в ее кругу Мандельштама стали называть «Зинаидин жиденок».

Гиппиус была тогда влиятельной литературной дамой, и то, что она стала на защиту молодого поэта, к которому символисты, особенно Брюсов, отнеслись очень враждебно с первых шагов, по-моему, хорошо рекомендует литературные нравы того времени и самой Гиппиус. А игра в «жиденка» продолжилась в мемуарах Маковского, который выдумал нелепую сцену с торговкой-матерью. Попав в эмиграцию и оторвавшись от своего круга, люди позволяли себе нести что угодно. Примеров масса: Георгий Иванов, писавший желтопрессные мемуары о живых и мертвых, Маковский, рассказ которого о «случае» в «Аполлоне» дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил, Ирина Одоевцева, черт знает что выдумавшая про Гумилева и подарившая Мандельштаму голубые глаза и безмерную глупость. Это к ней подошел в Летнем саду не то Блок, не то Андрей Белый и с ходу сообщил интимные подробности о жизни Любови Дмитриевны Блок... Кто поверит такой ерунде или тому, что ей говорил Гумилев по поводу воззвания, которого никто никогда не находил, или денег, наваленных грудой в ящик стола... Нужно иметь безмерную веру в разрыв двух миров (или времен, как наша мемуаристка Надежда Павлович), чтобы писать подобные вещи. Пока существует «мы», даже поверхностное, даже количественное, никто себе ничего подобного не позволит.

Искусственный разрыв любого «мы», даже количественного, даже случайного, приводит к тягчайшим последствиям. Мы это наблюдали с ужасающей наглядностью, когда одни, очутившись за решеткой, клеветали на своих близких и друзей, недавних союзников и соратников, а другие, оставшиеся на свободе, отрекались от отцов и мужей, от матерей,

братьев и сестер... И те и другие действовали «под нажимом», как у нас принято говорить, но я уверена, что не все объясняется этим проклятым нажимом. Мне недавно рассказали про самоубийство женщины, которая больше тридцати лет не могла забыть, как она отвернулась от отца, когда его уводили, и отказалась проститься с ним. Ей было всего одиннадцать лет в тот момент. Впоследствии она сама попала за колючую проволоку, хлебнула горя, но то, как и почему она не простилась с отцом, которого больше не увидела, не могло не остаться пятном на ее душе. Другая женщина рассказала мне, как ее отец тревожился, когда забрали начальника, с которым он прослужил много лет. Дочери, тогда восемнадцатилетней комсомолке, показалась подозрительной или недостойной тревога отца, и она предупредила его: «Если тебя возьмут, я не поверю, что это ошибка...» Единство семьи рассыпалось под нажимом – ведь обе девочки, одиннадцатилетняя и восемнадцатилетняя, тоже действовали под нажимом воспитания и общественного мнения, которое клеймило гибнущих и славilo сильных. Сегодня чем старше человек, тем прочнее в него въелись «родимые пятна» прошлой эпохи. Седобородый хохмач Ардов, у которого в начале революции расстреляли отца, написал судьям, разбиравшим гражданский иск Льва Гумилева, длинное послание, в котором сообщил про судьбу отца, Николая Степановича, и о том, что сам Лева много лет провел в лагерях: по политической статье... Я не сомневаюсь, что Ардову пришлось столько раз отказываться от собственного отца, что предательство Гумилевых, отца и сына, ничтожная веха на его славном пути. Под нашим небом семья, дружба, товарищество – все, что могло бы объединиться словом «мы», распалось на глазах и не существует.

Настоящее «мы» – незыблемо, непререкаемо и постоянно. Его нельзя разбить, растащить на части, уничтожить. Оно остается неприкосновенным и целостным, даже когда люди, называвшие себя этим словом, лежат в могилах.

Распад

Около полугода мы проболтались с Мандельштамом в богатой и веселой Грузии. В первую минуту, переехав грузинскую границу в вагоне «для душевнобольных», мы поняли, что очутились в ином мире. Поезд остановился, и все пассажиры во главе с машинистом и проводниками кинулись к стоявшим поодаль арбам с бочками. Мы двинулись в путь захмелевшие и веселые: в Грузии свободно торговали вином, бутылка которого стоила не больше, чем кусок лаваша. Солнце, веселый поезд, веселый паровоз, веселые под хмельком люди – все это удивительно не походило на хмурую, грязную Москву, где горсточка муки с Украины казалась чудом, а мальчишки на улицах торговали «Ирой рассыпной» и мы получали каждую папироску прямо из их замерзших, красных лапок. Мы мотались по Грузии на птичьих правах, чужие и непонятные люди, сбежавшие из нищеты в богатую и равнодушную страну. Так, должно быть, чувствовали себя беженцы из «Совдепии» в пышном Константинополе. В те дни я узнала, как горек чужой хлеб. Изредка Канделаки, министр просвещения, впрочем, они еще тогда были комиссарами, выписывал грошовую подачку за переводы, но на нее накладывал вето аскет Брехничев, русский уполномоченный при широком и щедром грузине. Про Брехничева говорили, что он расстрига, и не позволяли ему зажимать «своих». От шуточных стихов тех дней у меня осталась строчка: «У него Брехничев вместо цепной собаки», а от предыдущей только рифма – Канделаки...

Мандельштам не унывал, мы пили телиани, где-то жили, с кем-то разговаривали. Однажды мы попытались уехать и получили места в чистой теплушке. Предстояло ехать недельки две-три. Теплушечные поезда простаивали подолгу на узловых станциях и «мазали» мылом начальника, чтобы он дал паровоз. На станциях шел торг и обмен – мы и рассчитывали прокормиться обменом последнего барахла, но до этого надо было дотянуться до России. Богатая Грузия в нашем барахле не нуждалась. Уже закрыли двери теплушки, и поезд двинулся. Теплушка вдруг преобразилась – в центре возник стол из чемоданов, на нем тряпка вместо скатерти, роскошная снедь и вино. Меня, единственную женщину, усадили на почетное место. Начался пир, но на первой же станции оказалось, что поезд пошел, а наша теплушка стоит. Мы не заметили, как ее отцепили. Грузины кинулись к дверям, но открыть их не смогли. Еще минута, и двери раздвинулись. В вагон вошло несколько вооруженных людей во главе со штатским, низкорослым и широкоплечим человеком с лицом скопца. На нем были огромные очки, и в довершение всего он еще показался мне слепым. Скопческим высоким голосом штатский объявил, что он представляет Чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией. Начался обыск, но нашим имуществом никто не интересовался. Веселые грузины оказались зубными техниками. Они везли в Москву чемоданы лекарств и материалов для протезов. Искали у них и золото. Тем временем вагон двинулся – обратно на Тифлис. Грузин увели под стражей, а нас отпустили на все четыре стороны. Я впервые присутствовала при аресте. До этого мне пришлось видеть только бесчисленные обыски. У веселых и гостеприимных грузин, чей пир так мрачно оборвался, были смертельно бледные лица. Мне так хотелось, чтобы они откупились от мрачного скопца и снова вылетели на волю... Я еще не раз видела, как поездам шастают продотряды и отбирают у баб мешки... Это называлось «борьбой с мешочничеством».

Мы снова застряли в Тифлисе, ловчились, пили телиани и ели каймак, брынзу и лаваш. Однажды на базаре нас остановила мощная процессия «шахсе-вахсе». Она была последней, потому что на следующий год ее запретили – и навсегда. Под равномерные звуки восточных барабанов шли полуголые люди, ритмически хлеставшие себя кожаными плетками. Они держались стройными прямоугольниками. За ними в том же порядке – люди с кинжалами с более сложными ритмическими движениями. Один к одному, совершенно точно и однове-

менно они поднимали то правую, то левую ногу и наносили себе удар кинжалом все в одно и то же место. Это было бы похоже на балет, если бы не струйки крови, сочившейся из ран. Шли верблюды, ослы и кони в прекрасных попонах. На них ехали женщины и дети – семейство брата Магомета, в память убийства которого разыгрывался весь спектакль. На большом коне провезли голубя, а на другом верхом ехал странно качавшийся всадник. В спину у него был воткнут кинжал, и на белой одежде сверкала свежая кровь. Толпа зрителей то и дело шарахалась от страха, и мы тоже вместе с толпой. Я хотела бежать, но Мандельштам меня удерживал и заставил достоять до конца бесконечной процессии. Все участники выкрикали хором два каких-то коротеньких слова, и эти выкрики служили единственным регулятором ритма всего сложнейшего и кровавого балета. Говорят, что в прежние годы европейца, случайно оказавшегося в толпе зрителей, мусульмане бы немедленно растерзали. Процессия направлялась к холму под самым городом. Там тоже происходили какие-то ритуальные действия, но туда сунуться мы не решились. На следующий день все торговцы на базаре ходили в марлевых перевязках. И хозяин в чайной, где мы всегда пили поразительный персидский чай в маленьких стаканчиках, тоже был весь забинтован. Я не знаю, шииты или сунниты придерживаются «шахсе-вахсе» и что значат выкликаемые два слова (быть может, они и есть: шах-се вах-се), но понимаю, почему Армения «со стыдом и скорбью» отвернулась «от городов бородатых Востока»... И все же, как ни жестоко зрелище самоистязания и проливаемой крови, жертв среди участников процессии не бывает – только царапины, ранки и шрамы да еще ложка пролитой крови, а потом бинты и марля. Больше ничего. Европейцы, случается, действуют покрепче...

На какой-то короткий период мы сблизилась с посольством РСФСР в Грузии. Послом был Легран, гимназический товарищ Гумилева. Он назначил Мандельштама в штат посольства, и нам ежедневно выдавали два обеда по типу московских пайковых столовых. Мы приходили в посольство, болтали со скужающими Легранами, а затем уносили посольские судки с обедом и пачку газет, из которых Мандельштаму по долгу службы делать вырезки. Посольству хотелось иметь референта, но и посольство, и референт, и обеды были не настоящими, а липовыми, газеты же приходили с севера и из-за границы со скоростью черепахи. Легран раздобывал новости не из газет, а в Цека (или это называлось тогда Закрайком? названия у нас непрерывно меняются), имевшем с Москвой либо телефонную связь, либо тысячу курьеров.

Однажды Легран, обычно равнодушный и сдержанный, выскочил к нам навстречу из кабинета и увел нас к себе в квартиру. Там он рассказал о расстреле Гумилева. Он не на шутку испугался, хотя говорил искусственно дипломатическим голосом. Я не знаю, удалось ли ему сделать карьеру почище советского посла в Грузии, потому что это была наша последняя встреча. В разговор вмешалась жена Леграна, приятная и приветливая женщина. Она поспешно сказала, что ей никогда не нравился Гумилев – заносчивый, резкий, непонятный, чужой и чуждый человек. Жена Леграна оказалась первооткрывательницей и пионеркой: в те ранние годы еще не научились с ходу отречься от погибших, обвиняя их в дурном характере и чуждой настроенности – и притом совершенно искренно (в этом весь фокус). Потом только так и поступали с завидной прямоотой и честностью. Рассказы честных советских людей о Мандельштаме отражают те умонастроения: легенда, пущенная про него, живет и поныне и облегчает души свидетелей расправы. Почему, в самом деле, нельзя было прикончить этого нелепого и надменного чудака? Легковеры обследуют легенды, но даже они изредка качают головой и удивляются, каким образом согласуются странные черты характера, описанные современниками, со свободным потоком стихов этого диковинного человека... То, что сейчас было бы понято как внутренняя свобода, глубина, независимость и прямоота, тогда воспринималось (совершенно искренно) как петушиная дурь... Жена Леграна была предельно искренней, но впечатление от первого выпада против расстрелян-

ного оказалось таким сильным, что нам не захотелось возвращаться в посольство за обедом и газетами. Мы ушли с судками, но в посольство больше не заглядывали. Вскоре к нам явился солдат, рассыльный посольства, и забрал посольскую жестяную посуду. На этом отношения с Легранами кончились.

– Куда же теперь ехать? – сказал Мандельштам. – В Петербург я не вернусь.

Смерть Гумилева – без отпевания у Исаакия – окончательно превратила Петербург в город мертвых. Об этом есть поздние стихи: «Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса». Мандельштам ни за что не хотел ехать на север, потому что родной город для него закрылся. С гибелью Гумилева рухнуло «мы», кончилось содружество.

Ехать было некуда, но мы все же уехали, потому что не существовало места, где мы могли бы остаться. Новый, 1922 год мы встретили на рейде в Сухуме. Наш пароход назывался «Дмитрий», и нас везла без билетов комиссарша, бывшая пароходная нянька, добродушная, ширококостная женщина, отлично справлявшаяся с беснующейся оравой демобилизованных красноармейцев. Перепившись, они требовали у комиссарши отчета, почему портрет лейтенанта Шмидта висит у нее в каюте выше Ленина и кто эти двое, которых она уложила на тюфяке у своих дверей и прячет от контроля. Она нас и не думала прятать, а просто заслоняла своей могучей спиной и говорила совершенно беспомощным контролерам, что «эти» с ней и «этих» трогать не надо. И они нас «не трогали», как и прочую толпу безбилетных пассажиров.

На этом пароходе я видела, как бьются в припадках травматической падучей, нажитой при холодном ранении, полупьяные, полубезумные солдаты, жертвы гражданской войны (отец и сын у Шекспира, сын и отец у Шекспира!). Война еще шла, и демобилизация коснулась только больных, то есть инвалидов, но настоящих инвалидов – безногих, безруких – на пароходе почти не было. Таких вывозили поездами, а на пароход хлынула свободно передвигавшаяся бурлящая толпа, уже по разным причинам не годная для армии и тут же по возвращении разворачивавшая широкую деятельность в родных деревнях и городишках. Ведь в армии они получали политическое образование от комиссаров и начальников и «на местах» стали предвозвестниками «нового» и чем-то вроде светочей. Инвалид в «Котловане» не случайная фигура, выдуманная досужим писателем, а ведущее начало провинциальной жизни. Многие из них плохо кончили, потому что привыкли разрешать все недоразумения рукопашной схваткой. Другие, когда приток свежих сил оттеснил их от «власти на местах», подняли крик, прогремевший на всю страну: «За что боролись?»

Толпа на пароходе делилась на маленькие группы, и в центре каждой стоял добровольный агитатор. Иногда центром такого средоточья оказывался припадочный. Он падал наземь, судороги сводили тело, голова запрокидывалась, и он то выгибался дугой, то бился о деревянный настил. Но голос не терял силы: припадочный воспроизводил сцену ранения – давал команды, бросался в бой, выкрикивал лозунги, проклинал «белых гадов», кричал, что не пощадит родного отца... Четыре товарища придерживали его, чтобы он не разбил голову, пятый пытался – обычно безуспешно – сунуть ему в рот ложку, потому что среди брани у него то и дело вываливался язык и вместо слов раздавались одни хриплые стоны. Под конец разносился густой мат: припадочный крыл подбежавшую к нему среди боя «сестрицу». Окружающие с облегчением вздыхали: раз дошло до сестры, значит, припадок кончается. И действительно, корчи ослабевали, припадочный, успокоившись, засыпал. Его оставляли в покое, но где-нибудь, в другой части парохода, уже валился наземь и начинал биться и вопить другой безумец... Они бились в приступах падучей, как вся страна, изощренная кровью и бранью в годы гражданской войны. В таких войнах, по-моему, не бывает победителей и побежденных, потому что победитель, не выдержав ненависти и обуявшей его братоубийственной злобы, исходит кровью и бьется в падучей. Сколько раз это было уже сказано? Почему никто ничего не слышит и не читает? Почему все слова уходят в прорву и все преду-

преждения никого ни от чего не предостерегли?.. Большеглазый мальчик Мандельштам – я тогда еще не знала, как он молод, потому что он был старше меня, – все видел и слышал. Он иногда говорил: «Надюша, не слушай, Надюша, не смотри», а иногда: «Господи, посмотри, послушай, что с ними...» Иногда он говорил: «Все это пройдет», но чаще: «Ведь все они, припадочные и здоровые, говорят одно и то же, ничем друг от друга не отличаются...» Так и было. Все они говорили, словно в припадке падучей, одно и то же, но это оказалось далеко не самым страшным из того, что мне суждено было увидеть – с Мандельштамом, его глазами, и потом – без него, собственными глазами, которые он научил видеть и воспринимать виденное.

Мы высадились в Новороссийске под безумный вой оголтелого норд-оста. Ветер сбивал с ног. Мы дрожали от холода после прелестной теплицы, где провели полгода, то изнемогая от жары, то шлепая по покрытым ледяной пленкой лужам элегантными деревянными сандалями. Мы не боялись холода, потому что вдруг перестали чувствовать себя эмигрантами.

Я часто слышу жалобы и стоны бывших эмигрантов, которых никто не убивал и не уводил по ночам в невероятные тюрьмы двадцатого века, но я не затыкаю ушей, потому что узнала, как горек эмигрантский хлеб на чужбине. Узнала я это в Грузии. У моих современников был выбор – чужой хлеб на чужбине или собственное смертное причастие. Ни одна из этих возможностей не является «меньшим злом». Зло меньшим или большим не бывает, потому что оно есть зло. Только в России все же говорят по-русски, а это великое благо. Не случайно в статье, написанной по пути в Москву, Мандельштам написал дифирамб русскому языку, который был для него родным. Он вернулся в края, где говорят по-русски, и остро почувствовал власть родного языка.

К несчастью, все мы узнали ту степень разъединения, когда людей, говорящих на одном языке, нельзя объединить словом «мы». Есть степень разъединенности, когда люди уже не могут понять друг друга. Больше у Мандельштама не было «мы». Даже говоря о нас двоих, он употреблял не «мы», а «мы с тобой»: «Мы с тобой на кухне посидим» и «Куда как страшно нам с тобой»... Равноправное «мы» – союз «мужей», куда входила одна женщина, распался с гибелью Гумилева, и с ним остался только непрекращающийся воображаемый разговор.

Мы ехали на север, но не в Петербург, а в Москву.

В пути

В Новороссийске мы переночевали на столах в редакции газеты и двинулись дальше. В те годы всюду были мальчишки, которые знали Мандельштама и готовы были устроить ему ночевку, билеты и каплю денег. Такие нашлись и в новороссийской газетке. Около месяца мы прожили в Ростове, где Мандельштам напечатал несколько статей в местной газете. В феврале мы сели в отдельный салон-вагон, предоставленный хирургу, профессору Тринклеру (его вызвали из Харькова, чтобы сделать операцию кому-то из начальников), и вскоре дотянулись до Харькова. Салон-вагон – знак высокого положения в мире, и потому его прицепляют к поездам в первую очередь, не то что поганую теплушку. В Харькове был перевалочный пункт, откуда южные толпы рвались в Москву.

Там Мандельштама встретили люди, бредившие стихами. Все они были на отлете и собирались в Москву с литературными заявками. Гражданская война выхлестнула наверх особый слой разговаривающих и пишущих людей, которым не терпелось рассказать о том, что они видели. К обобщениям не стремился никто. Смысл событий ускользал. Все жили конкретным случаем, живописной, вернее, забавной подробностью, явлением, пеной с ее причудливым узором... Забавный и живописный оборванец, Валя Катаев, предложил мне пари: кто скорее – я или он – завоюет Москву. От пари я отказалась, потому что Москву завоевывать не хотела и ни к какой деятельности не стремилась, разве что написать дюжину натюрмортов. У меня уже тогда было полное равнодушие к «паблисити» и деятельности, я думаю, под влиянием Мандельштама. У него было четкое ощущение поэзии как частного дела, и в этом секрет его силы: перед собой и для себя звучит только основное и глубинное. Хорошо, если оно окажется нужным людям. А это зависит от того, кто говорящий и какова его глубина. Мандельштам сам не знал, кто он и какова его глубина, и по этому поводу не задумывался. Он не стыдился ни себя, ни своих мыслей, ни того, что ему было отпущено. Кто выдумал, что он олицетворил себя в строчках: «Чудак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет»? Мандельштам не «самолюбивый, скромный пешеход», он для этого слишком любил ходить пешком и любоваться миром, куда входили и машины. Это Парнок самоутверждается и робок, как горный козел. Если в Мандельштаме была крохотная крупинка Парнока, то она исчезла в такой ранней юности, когда он еще не подозревал, что такое «мы». Такое могло быть в период жизни за границей сразу после школы, на одну минутку, а потом вспомнилось и улыбнулось. Но не могло быть и секунды, чтобы этот человек сказал про себя, что он «судьбу клянет». Мы с ним попадали в разные переделки и в страшные катастрофы. Случалось, что я не только кляла, но проклинала обстоятельства, жизнь, что угодно. Но это была я, а не он. От него ничего подобного я никогда не слышала. Это не он. Он – оборванный или хорошо одетый, с деньгами или нищий, возмущенный чем-нибудь или радостный, в минуты дикой ревности или полного согласия, шумный или тихий, пишущий стихи или молчащий – никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы клясть судьбу. Он принимал жизнь, какая она есть, отвергал все виды теодицеи, а уж бедности бы никак не стыдился, потому что чувствовал себя богачом: «У кого под перчаткой не хватит тепла, чтоб объехать всю курву Москву?» Мы ведь только и делали, что пировали. Даже банка консервов или пшенная каша на нашем столе, доске или чемодане воспринимались как пир. И право же, судьба Алексея казалась ему куда более завидной, чем любого банкира, чиновника или советского спеца, тем более литературного...

В Харькове пришли первые литературные заработки, гораздо более ощутительные, чем в Ростове, потому что открылась не только газета, но и издательство, нищее, как вся страна. Издательство замышлялось сестрой Раковского. Худая темноволосая женщина, похожая на монахиню и запомнившаяся мне силуэтом, словно в ней не было объема, она собиралась

открыть издательство, и Мандельштам написал для нее статью «О природе слова» и первую прозу – очерк под названием «Шуба», часть которого появилась в местной газете. Газета с этим очерком пропала, как и весь архив Раковской. Статью напечатали после нашего отъезда и прислали оттиск. Его забрали из сундучка в мае 34 года, но кое у кого он сохранился. Эпиграф к статье прибавили харьковские издатели. Первоначально его не было. Пусть уж он останется в память о дружбе двух поэтов.

Когда я увидела Раковскую, у меня было острое чувство удивления: каким образом такая женщина «с ними». В годы великой путаницы понятий «такая женщина» могла быть с кем угодно и где угодно, да и неизвестно, чем она была на самом деле. Судить по внешности нельзя. Думаю, что она разделила общую судьбу, и допускаю, что приняла ее за монахиню по неопытности и незнанию людей. Все же хочется думать, что аскетический силуэт дается не зря. Возможно, что все это только сдвиг памяти или, как тогда сказал Мандельштам, непривычный римско-румынский типаж, европейский облик, в странной дисгармонии с широко-костными и славными няньками-комиссаршами. Я знаю одно: в обезумевшей толпе тех лет все же мелькали одухотворенные лица. Вероятно, у толпы (именно у толпы, а не у вожаков) была какая-то правота.

В Харькове нам рассказывали про новинки, уже ставшие достоянием широкого круга. До России дошли задержавшиеся из-за войны слухи о теории относительности и о Фрейде. О них говорили все, но сведения были уж слишком смутными и бесформенными. Более конкретными оказались рассказы о писателях, уже успевших подать свои заявки. Тогда гремел Пильняк – это был его день. Всех волновала новая тема. В Грузии мы отвыкли разговаривать с людьми, потому что там шел свой разговор между своими, в число которых мы не попали и попасть не могли. В Харькове нас поразило, что никто не разговаривает. Разговор оборвался – и навсегда. Зато появилась масса рассказчиков, и они наперебой выкладывали свои анекдоты.

У нас была кое-какая одежонка. Центросоюз в Батуме вышел в меценаты и за лекцию о Блоке выдал Мандельштаму материю на костюм и на два платья для меня. Мандельштам в 34 году (конец апреля) вспомнил, как мы «над лимонной Курю в ущелье балконном шили платье у тихой портнихи...». В мае рукопись отобрали, и она пропала. Восстановить стихотворение нам не удалось – оно было слишком свежим. Шуба, послужившая толчком к очерку, енотовая, плешивая, была куплена на базаре. Морозы в тот год стояли жестокие, и мы остро их чувствовали после юга.

Мандельштам заметил, что у всех возникла новая нота: люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны. Говорить, что пора обуздать народ, еще стеснялись, но это желание выступало в каждом высказывании. Проскальзывала формула: «Пора без дураков...» Нарастали презрение и ненависть ко всем видам демократии и, главное, к тем, кто «драпанул». Огромным успехом пользовалась легенда о том, что Керенский бежал в женском платье. Назрели предпосылки для первоклассной диктатуры – без всякой тени апелляции к массам. Уже стало ясно, кто победители, а им всегда – почет и уважение. Старшие поколения, еще демократичные, вызывали грубые насмешки молодых. Года через два я шла с Мандельштамом по мосту через Неву, и он показал мне старика в рубище, еле передвигавшего ноги. Это был известный историк¹, и подростком я читала его толстые томы. Исторические концепции этого историка были наивны и отличались умеренностью. Такие погибали в первую очередь. О его смерти никто не узнал – он умер где-нибудь на больничной койке или в нетопленной комнате. Он был интеллигентом, а для рвущихся наверх тридцатилетних самым презрительным словом

¹ Кареев. – Примеч. Н.Я. Мандельштам.

стало «интеллигент». Мы услышали его еще в Харькове от живчиков, стремившихся со своими заявками в Москву...

Из Харькова мы выехали в Киев, вероятно, в самом начале марта. Еще стояли морозы и путался старый и новый стиль. Ехали мы в так называемом «штабном» вагоне, куда продавали билеты командировочным высокой марки. Нам их выдали по благу писательских организаций, тогда еще находившихся в зачатке, но уже проявлявших недюжинную ловкость. С нами в купе ехали, быть может, хозяйственники или работники партийного аппарата, во всяком случае люди нового типа. На них были целые и добротные сапоги и кожанки. Наши спутники не пили, не нюхали кокаин, чрезвычайно распространенный в первые годы революции, и почти не разговаривали ни с нами, ни между собой. Единственное, что они себе позволяли, – это пошучивать со мной. Я лежала на верхней полке, и все они казались мне телеграфистами, и двое, занимавших нижние полки, и те, кто к ним заходил из соседних купе. Меня же они принимали за барыньку. Как только Мандельштам выходил из купе, они вскакивали и говорили, что таких, как я, надо за косу, и советовали учиться писать на машинке. В этом-то и состояли их шутки. Меня они не смешили, и было странное чувство, что в этом штабном вагоне уже сгущается новый и непонятный мир. Они соскучились по женщинам на войне, а собственных секретарш еще не заполучили, потому и крутились передо мной. Мандельштам с любопытством присматривался к ним. Он сразу заметил, что они не разговаривают и только время от времени цитируют статью или газету. «Им не о чем говорить», – сказал он и пробовал догадаться, кто они. Среди них могли быть организаторы всех отраслей хозяйства и административной жизни, включая органы порядка, но понять, кто чем занимается, мы не могли. Все они были выкроены на один образец.

С этим слоем мы почти никогда не сталкивались, и поэтому оба запомнили единственную встречу с типовыми организаторами новой жизни. Их бессловесность нас настораживала и пугала, потому что она появилась в результате особой дисциплины нового типа. Из таких людей создавался аппарат, победивший или презревший человеческие слабости и безукоризненно действующий по инструкциям независимо от их содержания.

Аппарат выдержал испытание временем и существует по нынешний день, хотя винтики неоднократно заменялись более усовершенствованными, а старые пропадали без вести, обернувшись лагерной или провинциальной пылью.

У нас была игра – входить в новый город. Мы входили в Москву, в Ростов, в Баку, в Батум и в Тифлис, а на обратном пути – в Новороссийск, в Ростов и в Харьков. Мы всю жизнь входили в другие города, и без Мандельштама я продолжала это занятие, но оно перестало быть игрой. В те ранние годы поезда иногда останавливались на вокзалах, но чаще их задерживали черт знает где. Тогда вещи вваливались на плечи, и мы вступали в город по проселочным дорогам или по шоссе и по улицам. Первая улица уже вызывала вздох облегчения. Иногда попадался извозчик или телега, но это было редкой удачей. Я вижу вокзальную площадь холодного Киева, но не помню, как мы добрались до родительского дома. Может, уже изредка ходили трамваи. Только слышу стук в дверь и как она открылась. Родители встретили нас, будто мы явились с того света. Уехать значило кануть в вечность. Ни одно письмо, ни одна весточка не дошли до них. Из Москвы, где жил мой брат, письма изредка доходили. К этому времени отъезд в Москву уже не отрывал уехавших от тех, кто остался на месте.

Киев оказался самым чужим городом, таким же иностранным, как Грузия. Украина обособлялась от русского языка с удвоенной силой, потому что, близкородственный, он всем понятен, как и украинский. Потом я нашла точный критерий, по которому научилась отличать украинцев от русских. Я спрашивала: где ваша столица – Киев или Москва?.. Всюду – по всей громадной территории страны слышны отзвуки южнорусской и украинской речи, но называют своей столицей Киев только настоящие, щирые украинцы с неповторимо широким «и» и с особой хитринкой. То, в чем Мандельштам слышал отзвук древнерусской речи, для

них – родной, отдельный, резко отличный от русского язык. Для меня всегда было загадкой, почему этот волевой, энергичный, во многом жестокий народ, вольнолюбивый, музыкальный, своеобразный и дружный, не создал своей государственности, в то время как добрый, рассеянный на огромных пространствах, по-своему антисоциальный русский народ вырабатывал невероятные и действенные формы государственности, всегда по сути своей одинаковые – от московской Руси до нынешнего дня. (Суть в полной оторванности правителей и народа, при которой одни делают что им вздумается, а другие терпят и слегка ворчат.) Нельзя объяснить это одним географическим положением Украины – между Польшей и Россией. Я привыкла верить Ключевскому, что разгром татарами Киевской Руси, развивавшейся как блистательное европейское государство с Мономахом и Ярославом Мудрым, с киевской Софией и дивным городом на высоком берегу Днепра, был горчайшим поворотным пунктом русской истории. Мандельштам об этом не думал. Он просто любил пестрый и живой город на Днепре, чтит Ключевского, читал «Завещание» и «Русскую правду» и никогда не перечитывал «Полтаву». Своих мыслей без него я не додумывала и так и осталась со своим удивлением. Но все же я рада, что моя столица не Киев, а Москва: ведь мой родной язык – русский. И если там и здесь будут открыто резать жидов, я предпочитаю, чтобы это случилось со мной в Москве. В московской толпе обязательно найдется сердобольная баба, которая попытается остановить погромщиков привычным и ласковым матом: эту не троньте, так вас и так, сукины дети. Под российский мат и умирать-то приятнее.

Из Киева мы поехали в Москву. Чтобы попасть в какой-то особый, но уже не штабной вагон, нам пришлось сбегать в загс. Бумажку о браке мы потеряли моментально, чуть успев доехать до Москвы. Я даже не уверена, что в загс мы пошли в этот приезд. Как будто это случилось позже и произошло потому, что комендант будущего поезда сказал, что ему надоело возить с собой баб, которые жены на недельку в поезде и баста: «Без удостоверения не повезу». Значения регистрации брака мы не придавали никакого, да и не стоил этот акт ничего. А в самом деле – в загсе мы были весной, а в тот год уезжали из Киева в холодные, лютые дни, и с нами поехал в Москву мой отец. В загс же с нами ходил Бенедикт Лившиц. Один раз мы явились слишком поздно – барышня уже собирала манатки и красила губы, готовясь смотаться. Бен со свойственным ему дурацким остроумием, которое он в душе считал раблезианским, уговаривал барышню повременить и совершить «бракосочетание», потому что «молодым не терпится». Она посмотрела на нас опытным, холодным взглядом и сказала: «знаем мы» и «подождут до завтра»... Лишь на следующий день мы получили бумажку для коменданта поезда, а в середине пятидесятых годов я через суд была оформлена в законные жены. Людям моего поколения суд давал это постановление в один миг: все либо забыли «оформиться», либо потеряли бумажку. Она не была нужна ни на что...

В конце марта (по какому стилю?) мы очутились в Москве. О Петербурге не было и речи. Мандельштам не поехал туда, даже чтобы повидать отца. У него не было сил возвращаться в «мрак небытия». Мы осели в Москве – чужом и чуждом для него городе. Ведь он уже успел сказать: «Все чуждо нам в столице непотребной». (Думаю, что здесь «мы» – петербуржцы.) Там ему было легче начинать новую жизнь, чем в родном, но опустошенном Петербурге. Если Москва тоже была опустошена – и в огромной степени, то все же не так, как Петербург. И заметно опустошение было гораздо меньше: город непрерывно пополнялся новыми толпами. Москва росла не по дням, а по часам, но не вверх – домами и пристройками – ничего не строилось, только ветшало и разваливалось, а людьми, со всех краев земли стремившимися в Москву. Кое-как налаживался городской транспорт, но еще по огромному городу ходили главным образом пешком да еще ездили на «ваньках». Извозчики стоили непомерно дорого, и мы уже не имели благодетеля, которому могли бы сдавать извозчицьи расписки.

Настоящие москвичи растворялись в огромных чужих толпах. Они стали маленькой горсточкой в новом городе. Скрипучий московский говор почти не слышался. Мы обрадовались однажды, услышав в москательной лавке, куда мы зашли узнать, как найти какую-то улицу, отличный совет: выйти «на площадь», а потом свернуть и пойти, куда следует. Дворники еще помнили исконную речь, но нигде и никогда ни один из них не говорил на том языке, которым его заставил говорить Пастернак в своем романе. Такого языка не существовало, как и сказов сибирской просвирни... Сам Пастернак говорил на чудесном языке, но чисто пастернаковском – он пел, мычал, шумел и гремел... Он был москвичом и с детства собирал «грыбы». Еврейские дети, выросшие в Москве, особенно остро воспринимали городской говор, но у Пастернака действовала еще врожденная музыкальность, превращавшая его речь в оркестр. Мандельштам мне говорил, что Ахматова «работает одним голосом», то есть непрерывно вслушивается в него. Это верно и по отношению к Пастернаку, отчасти и к Мандельштаму, который слышал и голос, и звучавшие в уме звуки.

Мы не были москвичами, а только пришельцами, и с трудом осваивали чужой город, еще голодный, еще пайковый, еще дикий и наводненный безмерными людскими разногласиями толпами. И все же мы чувствовали себя дома и привыкали к непотребной и шумной столице с молодой легкостью...

Чад небытия

В Москве мы останавливались, в Москву приезжали, в Москве жили, в Петербург только «возвращались». Это был родной город Мандельштама – любимый, насквозь знакомый, но из которого нельзя не бежать. «Городолюбие, городострастие, городоненавистничество», названные в «Разговоре о Данте», – это чувство, испытанное Мандельштамом на собственном опыте. Петербург – постоянная тема Мандельштама. О нем «Шум времени», «Египетская марка», много стихов из «Камня», почти все «Тристии» и несколько стихотворений тридцатых годов. В строчках «И каналов узкие пеналы подо льдом еще черней» – почти ностальгическая боль. И Петербургу Мандельштам завещал свою тень: «Так гранит зернистый тот тень моя грызет очами, видит ночью ряд колод, днем казавшихся домами...» От Петербурга Мандельштам искал спасения на юге, но снова возвращался и снова бежал. Петербург – боль Мандельштама, его стихи и его немота. Кто выдумал, что это я не любила Петербурга и рвалась в Москву, потому что там жил мой любимый брат?.. Сентиментальная версия нашей жизни... Я никогда не имела на Мандельштама ни малейшего влияния, и он скорее бросил бы меня, чем свой город. Бросил он его задолго до меня, а потом повторно бросал и дал точное объяснение: «В Петербурге жить – словно спать в гробу...» Хотела б я знать, при чем здесь мой брат, с которым я действительно всегда дружила... В «буддийской Москве», в «непотребной столице» Мандельштам жил охотно и даже научился находить в ней прелесть – в ее раскинутости, разбросанности, буддийской остановленности, тысячелетней внеисторичности и даже в том, что она не переставала грозить ему из-за угла. Жить под наведенным дулом гораздо легче, чем в некрополе с его пришлым, много раз сменявшимся населением, всегда мертвым, но равномернодвигающимся по улицам, и, наконец, самым страшным в стране террором, остекленившим и так мертвые глаза горожан. В Петербурге Мандельштам не дожил бы до тридцать восьмого года. Он только тем и спасся, что «убежал к nereидам на Черное море». Впрочем, черноморские nereиды так же плохо спасали людей, как и балтийские. Спасала только случайность.

Мандельштам рано почувствовал конец Петербурга и всего петербургского периода русской истории. Во время июльской демонстрации он служил в «Союзе городов» и вышел со своими сослуживцами на балкон. Он говорил им о конце культуры и о том, как организована партия, устроившая демонстрацию («перевернутая церковь» или нечто близкое к этому). Он заметил, что «сослуживцы» слушают его неприязненно, и лишь потом узнал, что оба они – цекисты и лишь до поры до времени отсиживаются в «Союзе городов», выжидая, пока пробьет их час. Он называл мне их имена. Один, кажется, был Зиновьев, другой – Каменев. Балконный разговор «по душам» навсегда определил отношение «сослуживцев» к Мандельштаму, особенно Зиновьева. Мы это остро чувствовали, когда жили в середине двадцатых годов в Ленинграде. Непрерывная слежка и раннее запрещение печататься (1923) были естественным следствием общего положения Мандельштама, но в Ленинграде все обострялось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, от дел отставленный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, которые предназначались для уничтожения. Еще неизвестно, уцелел ли бы Мандельштам, если б к моменту послекронштадтского террора находился в Ленинграде. Террор развернулся во всю силу, и Москва еще давила на Ленинград, обвиняя местные власти в том, что они не дают воли рабочему классу излить свой гнев.

В этом-то разгуле и погиб Гумилев. Два слова о «юноше из морской семьи», который приезжал в 21 году к Гумилеву. Он был послан адмиралом Немецом пригласить Гумилева в поездку в Крым – отдохнуть и подкормиться. Ходасевич наивно считал, что он был специально подослан к Гумилеву. Надо уметь отличать подосланных стукачей, и это своеоб-

разное советское искусство, которым Ходасевич не успел овладеть, предпочитая всюду и везде видеть сети и капканы. Таков советский обычай, но он только ослабляет людей, которым следовало бы быть всегда начеку. Ни в каких особых сетях и капканах у нас не нуждались – при терроре не требуется серьезной мотивировки, чтобы уничтожить человека. «Оформить дело» легче легкого, пора это понять. Вокруг поэта всегда много мелкой швали, чтобы из нее выжать любое показание, и никто не стал бы тратить на командировочные, засылая человека из столицы. Фамилия юноши была Павлов. Ничего хорошего про него сказать не могу. Думаю, что под давлением он подписал бы что угодно для спасения своей шкуры. (Он тоже был арестован, но вышел невредимым.) Но есть чисто бюрократическая загвоздка, снимающая предположения Ходасевича. Адмирал Немец сам взял к себе Павлова, чтобы спасти юношу из «хорошей семьи». Павлова могли использовать для слежки за его покровителем Немецом, иначе говоря, дать ему поручение первостатейной важности. Совершенно исключается, чтобы столь ценному агенту дали дополнительное задание по уничтожению Гумилева. Такого рода «совместительство» немыслимо. Отделы карательных органов использовали своих агентов по назначению, а не как попало. Для уничтожения поэта взяли бы поэтишку, а не военного специалиста. Оцуп, бывший в курсе дела Гумилева, ходивший к Горькому и разузнавший все, что до нас дошло, не подозревал Павлова ни в чем. Он не прерывал с ним сношений и перед своим отъездом – в последний раз, когда был в Москве, останавливался у Павлова, куда мы зашли с ним прощаться.

Оцуп воспринял гибель своего учителя как личную трагедию. Я не допускаю мысли, чтобы он поддерживал отношения с человеком, которого бы считал виновником происшедшего. Среди легенд, создавшихся о смерти Гумилева, ходят разные высказывания Горького, сочиненные неизвестно кем. Одно из них про Павлова – будто его показания легли в основу приговора. Вполне допускаю, что так и было, хотя далеко в этом не уверена. Это вовсе не значит, что Павлов был подослан, а только то, что его между прочим использовали для «оформления дела». Роль Мандельштама в этом деле проста: он узнал, что в Ленинград едет от Немеца человек приглашать Гумилева в Крым, и попросил раздобыть и для него билет в штабной вагон. Павлов исполнил просьбу, и Мандельштам съездил в Петербург проститься с отцом перед «экспедицией» на Кавказ. Ходасевич – человек старой школы. Он верил в необходимость провокации для уничтожения человека. Кроме того, он отдал дань современному стилю и в каждом встречном подозревал провокатора. Вспомните Зенкевича, который подозревал стукача в том же человеке, который подозревал его в стукачестве, причем оба не заметили настоящих стукачей, отлично видных и мне, и Мандельштаму. Мерзко смотреть на болезнь, которой охвачены огромные толпы, включая самих стукачей. Они-то болеют самыми тяжелыми формами этой болезни, поэтому их легко узнать по глазам – отчаянным, полным застывшего ужаса. В Петербурге эта болезнь – мания видеть во всех стукачей – достигла самого высокого уровня. Она отравляет жизнь людям и сейчас. Петербург – проклятый город, «сему месту быть пусту».

Ахматова назвала Петербург траурным городом. Траур носят живые по мертвым, а я только один раз видела живые лица в Петербурге – Ленинграде – в многотысячной толпе, хоронившей Ахматову и оцепившей сплошным кольцом церковь Николы Морского. Старухи, для которых церковь – дом, не могли в нее пробиться и справедливо негодовали на людей, никогда не ходивших в церковь и запленивших все щели по случаю отпевания. Толпа была молодая – студенты сорвали занятия и пришли отдать последний долг последнему поэту. Изредка мелькали современницы Ахматовой в кокетливых петербургских отряпах. Невская вода сохраняет кожу, и у старушек были нежные призрачные лица. Москвичи выделялись отдельной группой, тяжеловесной и устойчивой. Молодежь не знала, как ведут себя в церкви, и толкалась, пробиваясь к гробу. Я стояла рядом с Левой, который впервые за несколько лет увидел мать. Он пытался прорваться к ней в больницу, но его не пустила жена

Ардова, Нина Ольшевская. Она при мне приезжала в больницу, чтобы подготовить Ахматову к очередной «невстрече» с сыном. Нина убеждала Ахматову, что встреча может ее погубить, Ахматова возмущалась, но ничего поделать не могла. Ее энергично охраняли от сына.

Я приехала домой из больницы и застала Леву у своих дверей. Он был сам не свой, плакал, бесился, подробно рассказывал, как идиотка Ольшевская учила его, о чем можно, о чем нельзя говорить с матерью. Она внушала Леве, что в больницу он без ее разрешения (и без нее) не пойдет, для чего она грозилась принять соответствующие меры. Ему предложили ехать в Ленинград и ждать вызова, которого он, разумеется, не получил. От меня Ахматову охраняла внучка Пунина, ангелоподобное создание со злым маленьким личиком. Однажды она подслушала, что мы с Ахматовой говорим о завещании, и ей такой разговор не понравился. Появляясь в Москве, Аня нежно, но твердо просила меня по телефону не заходить, чтобы «не утомлять Акуму». Время от времени Ахматова поднимала крик, и тогда меня спешно призывали в больницу, но старались, чтобы кто-нибудь при нашей встрече присутствовал. Ахматова была стара и беспомощна, и ее окружали претенденты на фантастическое наследство, которое, к счастью, получил сын. Ахматовой удалось обмануть бдительных мелких хищниц и уничтожить вырванное в свое время (когда Лева был в лагере и лишен всех прав) завещание в пользу Ирины Пуниной.

В толпе, хоронившей Ахматову, был еще один по-настоящему осиротевший человек – Иосиф Бродский. Среди друзей «последнего призыва», скрасивших последние годы Ахматовой, он глубже, честнее и бескорыстнее всех относился к ней. Я думаю, что Ахматова переоценила его как поэта – ей до ужаса хотелось, чтобы ниточка поэтической традиции не прервалась. Вдруг она вообразила, что снова, как в молодости, окружена поэтами и опять заваривается то самое, что было в десятых годах. Ей даже мерещилось, что все в нее влюблены, то есть вернулась болезнь ее молодости. В старости, как я убедилась, люди действительно обретают черты, свойственные им в молодые годы (не потому ли, что ослабевает самоконтроль?). Со мной этого как будто еще не произошло. И все же прекрасно, что нашлись мальчишки, искренно любившие безумную, неистовую и блистательную старуху, все зрелые годы прожившую среди чужого племени в чудовищном одиночестве, а на старости обретшую круг друзей, лучшим из которых был Бродский.

Мне случалось слышать, как Иосиф читает стихи. В формировании звука у него деятельное участие принимает нос. Такого я не замечала ни у кого на свете: ноздри втягиваются, раздуваются, устраивают разные выкрутасы, окрашивая носовым призвуком каждый гласный и каждый согласный. Это не человек, а духовой оркестр, но, кроме того, он славный малый, который, боюсь, плохо кончит. Хорош он или плох, нельзя отнять у него, что он поэт. Быть поэтом да еще евреем в нашу эпоху не рекомендуется.

Откуда взялось столько евреев после всех погромов и газовых печей? В толпе, хоронившей Ахматову, их было непропорционально много. В моей молодости я такого не замечала. И русская интеллигенция была блистательна, а сейчас – раз-два и обчелся... Мне говорят, что ее уничтожили. Насколько я знаю, уничтожали всех подряд, и довод не кажется мне убедительным. Евреи и полукровки сегодняшнего дня – это вновь зародившаяся интеллигенция, нередко вышедшая из мрачно-позитивистских семей, где родители и нынче твердят свою окостеневшую чушь. А среди молодых много христиан и религиозно мыслящих людей. Я однажды сказала Ахматовой, что сейчас снова первые века христианства и в этом причина перехода в христианство множества иудеев. Она закивала головой, но меня мой прогноз не устраивает. Все чаще приходит мысль о надвигающемся конце, окончательном и бесповоротном, и я не знаю, чем оправдать такую настроенность – моей собственной надвигающейся смертью или тенью, отбрасываемой будущим на весь еще недавно христианский мир. Лишь бы мне не увидеть еще зрячими земными глазами то, что, быть может, надвигается.

В наши дни предчувствие конца стало уделом огромных масс, и не только потому, что наука блестяще продемонстрировала свои возможности. Мне иногда даже думается, что наука просто дает рациональное обоснование естественному испугу людей перед делом своих рук. Об этом свидетельствует бесплодный взрыв философского пессимизма, который охватил весь Запад после второй мировой войны. Говорят, он исчерпывается, но у нас, искусственно задержанный, он подтачивает силы и так измученных людей. Но пессимизм, хоть я и назвала его бесплодным, все же лучше, чем чудовищная, слепая и злобная вера в спасителей человечества, от которых нас-то спасает только таинственный закон самоуничтожения зла. Проклятая вера в «ничто» все же еще гнездится в чьих-то незрелых умах, о чем свидетельствуют портреты, которые вывешиваются в некоторых злосчастных западных университетах. Подлым душонкам захотелось погулять на воле: убийство тысячи-другой простых людей подарит каждого из них ощущением силы, которым так любят обзаводиться ничтожные духом. Они твердо знают, что палач всегда сильнее жертвы. Палач даже презирает свою жертву, потому что у нее испуганные глаза и брюки держатся не на ремне, а на честном слове, а потому сползают. Сытая скотина охотно морит голодом свою жертву, потому что голод снижает сопротивляемость. Зато когда по закону самоуничтожения зла бывшие соратники приступают к уничтожению своих, то есть тех самых, которые допрашивали, били, убивали или санкционировали «ради пользы дела» убийство «чужих», вчерашние «свои» вопят от удивления, рвутся доказать свою кристальную чистоту и рассыпаются на куски.

Всюду портреты и чувство надвигающегося конца. Люди ощущают его всеми порами и клетками души и тела. Один философ с неумеренно гениальными прозрениями публично заявил, что эсхатологические настроения – участь погибающих классов. Тот же философ доказал, что классовый подход – самый научный и точный. Остается вопрос: кто же погибающий класс в нашей стране, охваченной острой тоской и мучительным предчувствием конца?

Жилплощадь в надстройке

Мы поселились в Москве, и я никогда не видела Мандельштама таким сосредоточенным, суровым и замкнутым, как в те годы (начало двадцатых годов), когда мы жили «в похабном особняке» в Доме Герцена с видом на «двенадцать освещенных иудинных окон». Сдвиг в стихах произошел еще в Тифлисе. Я услышала новый голос в стихотворении «Умывался ночью на дворе...». Москва же была периодом клятв: обет нищеты, но совсем не ради самой нищеты как испытания духа, дан в «Алексее», и он дополняется тем, что сказано в «Алискансе». Это не просто переводы, и они должны входить в основной текст, как «Сыновья Аймона». В этих вещах – в «фигурной композиции», как сказали бы художники, – Мандельштам выразил себя и свои мысли о нашем будущем. Он хотел напечатать все три вещи в одной из книг 22 года (в госиздатном «Камне» или во «Второй книге»), но воспротивился редактор – или цензура, что одно и то же. У нас ведь не цензура выхолащивает книгу – ей принадлежат лишь последние штрихи, – а редактор, который со всем вниманием вгрызается в текст и перекусывает каждую ниточку. Некоторые крохотные сдвиги произошли лишь в последние годы, но особого значения они не имеют... В «Сыновьях Аймона» личный элемент в жалобе матери: «Дети, вы обнищали, до рубища дошли», в «Алискансе» – боль при виде толпы пленников, щемящее чувство, которое мучит меня уже больше полувека, но ни я, ни «наши дамы» не требовали от мужчин ничего, кроме осторожности. И я еще меньше других, по той простой причине, что к Мандельштаму с советами лезть не стоило – не слушал.

Переводы из Барбье тоже не случайность. В них попытка осмыслить настоящее по аналогии с прошлым: обузданная кобыла, пьянство, а главное – дележ добычи победителями и кость, брошенная к ногам жадной суки. Последнее стихотворение почему-то не попало в трехтомник, хотя редакторы не поленились напечатать всякую поденщину и дрянь, спасавшую от голода, и даже переводы старательного Исайи Мандельштама. Когда-нибудь соберут и переводы Ахматовой, где не больше десяти строчек, переведенных ею самою, а все остальное сделано с кем попало на половинных началах. Иначе говоря, она получала переводы, что в наших условиях вроде премии или подарка, кто-то переводил, а гонорар делили пополам. Поступала она умно и спасала бедствующих людей, получавших за негритянскую работу не так уж мало – ведь ей платили по высшим расценкам. Глупо, что она уничтожала черновики, по которым можно было бы определить авторов. Многие знают об ее способе переводить, в том числе и Лева, немало сделавший за мать, но вряд ли кто-нибудь об этом скажет, и в сочинениях Ахматовой будет печататься вся переводная мура. Надо пощадить поэтов – переводная кабала страшное дело, и нечего всю дрянь, которую они переперли, печатать в книгах. У Мандельштама серьезная переводная работа только «Гоготур и Апшина» и Барбье. Он с опозданием выполнил совет Анненского и на этих переводах чему-то учился. Сознательно выбраны и тексты Барбье – особенно «Собачья склока». В ней отношение к народной революции и отвращение к победителям, которые пользуются плодами народной победы. Тема для нас актуальная.

Меня же не перестает огорчать, с каким аппетитом Мандельштам поносит в некоторых переводах жен. Кобелек с добычей спешит домой, «где ждет ревнивая, с оттянутой шерстью, горячка-сука муженька», а Гоготур говорит жене: «Что ты мелешь, баба глупая, без понятия, необдуманно... Ты не суй свой нос, безродная, в дело честное, булатное, твое дело веретенное, веретенное, чулочное...» Чуть доходило до ругани с «безродной сукой», язык перевода приобретал свежесть и глубоко личный звук. Ругался он, правда, только в переводах. В стихах на ту же тему о бедняжке Европе, которой хочется удрать от безвесельного гребца хоть на дно морское – «и соскользнуть бы хотелось с шершавых круч», – есть жалость к девочке-женщине, и он понимает, насколько ей «милее уключин скрип, лоном широкая палуба, гурт

овец», словом, мирная жизнь с обыкновенным хозяйственным мужем-добытчиком, а не с быком-похитителем, беспутным бродягой, который тащит ее неизвестно куда. И внешне, Мандельштам сказал, я была чем-то похожа на Европу со слабой картинки Серова – скорее всего, удлинненным лицом и диким испугом.

Во мне, конечно, была и девочка-Европа, и потенциально «гордячка-сука», и Мандельштам не щадил сил, обуздывая жажду домостроительства и мечту, чтобы и у нас было, как у всех. По правде сказать, он держал меня в ежовых рукавицах, а я побаивалась его, но виду не показывала и все пыталась не то чтобы соскользнуть, но ускользнуть хоть на часок. Но ничего не выходило даже на минутку... Он понимал меня насквозь и свободно читал в моих мыслях. Да это и несложно: какие мысли у двадцатилетней дурехи!

Я вспоминаю убогие мечты мои и женщин моего поколения: домишко, вернее, комната в коммунальной квартире, кучка червонцев – хоть на неделю вперед, туфельки и хорошие чулки. Женщины, замужние и секретарши, – все мы бредили чулками. Непрочные – из настоящего шелка, чуть прогнившего, – они рвались на второй день, и мы, глотая слезы, учились поднимать петли. А кто из нас не плакал настоящими слезами, когда ломался проклятый каблук, пришедший из совсем другой жизни, на единственных, любимых, ненаглядных, глупых лодочках, созданных, чтобы в них сделать два шага – из особняка в карету... Ведь и в той прежней, устойчивой жизни никаких особняков и карет у нас не было бы. Муж-банкир слишком дорогая плата за благополучие, да и банкиры за свое золото требовали лучшего товара, чем дуры в лодочках. И хоть единственная пара туфель и одна пара чулок, но все же она у нас была, и мы выпендривались как хотели...

Дурень Булгаков – нашел над чем смеяться: бедные нэповские женщины бросились за тряпками, потому что им надоело ходить в обносках, в дивных юбках из отцовских брюк. Да, надоело, и нищета надоела, а сколько усилий требовалось, чтобы помыться в огромном городе, где первым делом уничтожили все ваннные комнаты. Мы мылись, стоя на одной ноге и сунув другую под кран с холодной водой. Если нам попадала в руки тряпка, тут же разыгрывалось необузданное воображение, как бы из нее, вожаденной, сделать нечто прекрасное и годное на все случаи жизни. На гонорар за «Вторую книгу» Мандельштам купил мне голубую лисичку, и все подружки умерли от зависти, но оказалось, что это не шкурка, а клочки шерсти, ловко нашитые на бумазейную тряпку. Нищета была всеобщей, и только дочери победителей и «гордячки-суки» планомерно из нее выбивались. Число их умножалось с годами, но я уже знала, что мы принадлежим к разным классам.

Единственное, что вызывало улыбку Мандельштама, – это городские воробьи и бедные девочки, которые в дождь босиком шлепали по лужам, чтобы не испортить с таким трудом добытые лодочки. О них он с теплотой, вызвавшей у меня приступ ревности, рассказал в «Холодном лете». Зато «дам» он не переносил до ужаса и отвращения. Несколько «дам», салондержательниц, еще цвели в Москве и в Ленинграде. Они таинственно прижились в новых условиях и доверия не вызывали. Если мы случайно сталкивались с ними, Мандельштам становился непроницаемым, и я дрожала, что он вдруг нахамит по первому классу. Кое-кто из жен и сестер победителей благоволил «культуре». Вокруг них увивались дельцы типа Эфроса, устраивая дела свои и своего круга. Этих ни я, ни Мандельштам не видели никогда, и сейчас уже иссякают кретинские выдумки, что он наслаждался богатством, которого был лишен в юности, и прямо противоположные истории – будто он съел все печенье или всю икру у Каменевой... Рекомендую прочесть мемуары художницы Ходасевич, чтобы понять, чем пахло благополучие в те годы. Там вкраплена лживая история про Бабеля, вызволившего ее мужа из Чека, столь же достоверная, как рассказ о том, что ей показали в символистическом московском салоне среди прочих «модернистов» и Мандельштама в годы, когда он еще ходил с ранцем в школу и в Москве не бывал.

В суровом человеке, с которым я очутилась с глазу на глаз на Тверском бульваре, я не узнавала беззаботного участника киевского карнавала. В Грузии на эмигрантских хлебах мы успели привыкнуть друг к другу, но еще не сблизились. В Москве я не успела оглянуться, как он заарканил и взнуздал меня, и поначалу я еще пробовала брыкаться. Меня тянуло к людям, к остаткам карнавала, который еще кое-где переплескивался. Меня звала приятельница, хозяйка шумного однокомнатного дома, куда захаживал сам Агранов и его будущие жертвы. Днем Мандельштам иногда соглашался зайти на минутку в этот дом, но вечером ни под каким видом. Одну меня он не отпускал никуда, и я так и не увидела московского салона времен становления империи. За мной заходили, чтобы вместе пойти в ночной подвал, открытый Прониным на манер «Собаки». Мандельштам не пустил. «Но ведь ты же сам бывал в „Собаке“», – говорила я. Он отвечал: «Очень жаль» или «Время теперь другое»... Из нашей комнаты было видно, как зажигаются окна в Доме Герцена, – это собирался Союз писателей или Союз поэтов, отдельно существовавшие тогда под одной крышей. По приезде Мандельштам зашел туда на какие-то заседания, а потом больше не появлялся. К нашему окну непрерывно подходили люди по дороге в писательские канцелярии, и Мандельштам вежливо с ними разговаривал, но в личные отношения не вступал ни с кем. Официальная изоляция еще не началась, но он сумел изолироваться сам. Он знал, что тех, кого он мог бы назвать «мы», уже не существует, а случайных встреч и связей избегал. Да и с кем было якшаться: с Асеевым, усачами или попутчиками? С кем из них был возможен разговор или шутка? К нам приходил Лопатинский, заглядывал Якулов, остроумный, острый и легкий человек, появлялся Аксенов, желчный и умный. Однажды Якулов потащил нас к Краснушкину, где пили до одурения, но больше соблазнить Мандельштама бесплатной водкой не удалось. Якулов говорил, что русская революция не жестокая, потому что всю жестокость отсосала Чека. Сам он потом узнал, что это за птица. На его похороны Луначарский отвалил кучу денег, и Мандельштам возмущался: при жизни морят и лишают жены (ее посадили), а на мертвого не жаль и расщедриться. Мы жили рядом с Камерным театром, и туда нас зазывали художники, ходили и на постановки Мейерхольда, иногда с отвращением, иногда с интересом смотря одну за другой невероятно разные постановки. Театрами мы не стали. И театр был внутренне пуст и страшен, несмотря на внешний блеск. Все твердили одно слово: «биомеханика». Это было модно и пышно.

В двадцать втором году на Мандельштама был еще спрос. Кроме Нарбута с новым акмеизмом без Ахматовой, но с Бабелем и Багрицким, были кучи других предложений деловых литературных союзов. Однажды Мандельштама зазвал к себе Абрам Эфрос – я была с ним – и предложил «союз», нечто вроде «неоклассиков». Все претенденты на «неоклассицизм» собрались у Эфроса – Липскеров, Софья Парнок, Сергей Соловьев да еще два-три человека, которых я не запомнила. Эфрос разливался соловьем, доказывая, что без взаимной поддержки сейчас не прожить. Большой делец, он откровенно соблазнял Мандельштама устройством материальных дел, если он согласится на создание литературной группы, – «вы нам нужны»... Где-то на фоне маячил Художественный театр и прочие возможные покровители. Мандельштам отказался наотрез. Каждому в отдельности он сказал, почему ему с ними не по пути, пощадив только молчаливого Сергея Соловьева («за дядю», как он мне потом объяснил). Я и тогда прекрасно понимала, что подобное объединение было бы полной нелепостью, но Мандельштам обладал способностью наживать врагов резкостью и прямоотой, совершенно необязательными в подобных ситуациях. Эфрос никогда этой встречи не забыл, и она отозвалась в последующие годы достаточно явно – тысячами серьезных и мелких пакостей. Все прочие, люди безобидные, просто навеки запомнили нанесенные им обиды.

Сходная ситуация была и в Ленинграде, где в первый наш приезд нам пришлось побывать у Анны Радловой, потому что Мандельштам был с ней в свойстве и мы приехали после

смерти ее сестры, на которой был женат брат Осипа Евгений. Мать Радловой, Марья Николаевна Дармолатова, осталась жить с осиротевшей внучкой Таткой и ненавистным зятем. Из-за нее мы и пошли с «родственным» визитом к Радловой. Там собрались Кузмин с Юркуним и, кажется, с Оленькой Арбениной, художник Лебедев, муж второй сестры – Сарры Дармолатовой или Сарры Лебедевой, будущего скульптора, и еще несколько человек, и я опять услышала, как Мандельштама заманивают в объединение или союз – на этот раз синтеза всех искусств – поэзии, театра, живописи... Сергей Радлов, режиссер, с полной откровенностью объяснил Мандельштаму, что все лучшее в искусстве собрано за его чайным столом. Вот лучшие поэты, художники, режиссеры... Был ли там композитор? Не помню. А вот Юркун шел за прозаика. Материальная база – театр, который обеспечит и Мандельштама, как и других членов объединения. Имя Мандельштама необходимо для укрепления художественной ценности союза, он же получит поддержку группы во всех смыслах и во всех отношениях... Кузмин молчал, хитрил и ел бычки, лучшие по тому времени консервы. За него говорил Юркун, и даже чересчур энергично. «Низок» – как говорила Ахматова. И еще: «Срамотища»...

На этот раз Мандельштам вел себя гораздо приличнее, чем у Эфроса: он просто мычал и делал вид, что ничего не понимает. Наконец Радловы, оба – и муж, и жена, задали вопрос напрямик: согласен ли Мандельштам позабыть устаревший и смешной акмеизм и присоединиться к ним, активным деятелям современного искусства, чтобы действовать сообща и согласованно? Мандельштам сказал, что по-прежнему считает себя акмеистом, а если это кажется кому-нибудь смешным, то ничего не поделаешь... Все дружно набросились на акмеистов, а Кузмин продолжал помалкивать и лишь изредка вставлял слово, чтобы похвалить стихи Радловой. У меня создалось ощущение, что он-то и является душой этой заварухи, но втайне издевается над всеми, в частности над Радловой. Скорее всего, ему было наплевать на что бы то ни было, но из дружеской связи с Сергеем Радловым он умел извлекать пользу, а для этого полагалось хвалить Анну Радлову. Больше других шумел Юркун, и я впервые услышала, как поносят Ахматову.

Впоследствии мне случалось встречать всю троицу у Бенедикта Лившица, и Олечка Арбенина спросила меня, за которую я из двух Анн: за Радлову или за Ахматову. Мы с ней были за разных Анн, а в доме Радловых, где собирались лучшие представители всех искусств, полагалось поносить Ахматову. Так повелось с самых первых дней, и не случайно друзья Ахматовой перестали бывать у Радловой. Один-единственный раз Мандельштам нарушил старый сговор и еле унес ноги. Иногда я встречала Радлову у ее матери, и она всегда, увидав меня, старалась покрепче ругнуть Ахматову, но больше по женской линии: запущенна, не умеет одеваться, не способна как следует причесаться, словом – халда халдой... Это была маниакальная ненависть, на которую способны только люди. Иногда – за преданность Ахматовой – доставалось и мне, но в замаскированной форме: некто, кажется Миклашевский, женился на одесситке, и все друзья готовы провалиться со стыда, когда она открывает рот... «А вы из Киева? Там говор вроде одесского?» Иногда же через меня она пыталась сойтись с Мандельштамом: отчего бы не завести обычай гулять по утрам? Мы бы прошли вдвоем и вернулись позавтракать к нам, и Мандельштам бы за вами зашел...

Все это вскоре кончилось. В 22 году еще казалось, что возможны литературные объединения и какая-то литературная жизнь. Последней группой были «обэриуты». Остатки «серапионов» и «опоязовцев» и сейчас с наслаждением вспоминают двадцатые годы как пору расцвета и яркой литературной жизни. На самом деле это была жалкая инерция десятилетних годов, как у Эфроса и Радловых, или содружество обреченных, как у «обэриутов», которые примостились около Маршака и зарабатывали на хлеб детскими считалками. Изоляция, которую выбрали Мандельштам и Ахматова, была единственным выходом. Началась эпоха

одиночек, противостоявших огромному организованному миру. Она продолжается и сейчас, хотя одиночек уже тоже нет.

В 23 году произошло нечто, резко изменившее положение Мандельштама, какое-то совещание или постановление, кто его знает, но он вдруг был снят со счетов. Имя его исчезло из списков сотрудников всех журналов, всюду стали писать, что он бросил поэзию и занялся переводами, за границей это доверчиво повторяли глубокомысленные газеты вроде «Накануне», словом, началась официальная изоляция, длящаяся по нынешний день. «Общество» сразу отшатнулось, и уже никто не предлагал ему вступать в литературные союзы. Идеология набирала силы. Пока шла война, государство улыбалось всем, кто предлагал сотрудничать. Отсюда краткий роман с «левым искусством». К концу войны предложение стало превышать спрос, и левых быстро отеснили. Возник Авербах, и будущее оказалось за ним. Он победитель, так как литература идет проложенным им путем. Его не вспоминают и не восхваляют, потому что его успели расстрелять. Расстреливали и своих и чужих без разбору.

Добывая деньги на содержание своей Европы, Мандельштам вынужден был ходить по редакциям. Его наперебой старались просветить, чтобы он не так чудовищно отставал от жизни. Однажды он сообщил мне свежую новость: «Оказывается, мы живем в надстройке!..» Кто-то позаботился, чтобы Мандельштам узнал о соотношении базиса и надстройки. В надстройке жилось омерзительно грязно и постыдно, и мы оба видели, как ослабевают связи между людьми. Они даже не ослабели, а рухнули, и прежде всего исчезло искусство разговора. Внезапно появились рассказчики, потому что разговаривать было не о чем. Кому скажешь, что базис и надстройка – нелепая схема? Самое удивительное – как долго держалась эта схема, и люди порядочные – не подлецы и не карьеристы – совершенно серьезно обсуждали, каким образом «классическое наследство переходит из одной надстройки в другую». «В чемоданчиках переносят», – сказала я одному человеку, которому вполне доверяла. «Это уже слишком, – ахнул он, – ведь литература уж наверное надстройка...» Какой путь должны пройти дети, выросшие в таких домах, чтобы научиться думать, отвечать и говорить? До сих пор ведущее место занимают рассказчики, чаще всего безудержные хвастуны. Старшие поколения держат под кроватью чемоданчики с «Двенадцатью стульями», Олешей и Багрицким на случай, если придется переселиться в новую надстройку.

В двадцатых годах начисто исчезла шутка и в течение полувека использовалась только как хорошо оплачиваемый агитационный прием. Такая шуточка гнездилась в лефовских кругах, и ее родоначальником был Петенька Верховенский, первый русский футурист. Она предназначалась для того, чтобы огоршить и ошеломить, как Петенька ошеломил своего чувствительного папашу. «Леф» и «На посту» – два ведущих журнала начала новой эры, но лучше их не перелистывать, чтобы не задохнуться. Они казались противопоставленными, а на самом деле это близнецы. Шутка Мыльникова переулка была безобиднее, пока она существовала в устном фольклоре Катаева. Получив идеологическую обработку Ильфа и Петрова, она приблизилась к идеалу Верховенского.

В Москве двадцатых годов шутить было не с кем. Шутки Петеньки и одесситов стояли поперек горла. Единственное здоровое в нашей жизни – анекдоты. Они начались с первых дней и не иссякали ни на миг. Анекдот – единственный отклик на общественную жизнь. Кто их сочиняет? Одно время их приписывали Радеку, но мы в его авторство не верили. И действительно – он погиб, а анекдоты не иссякли. Начальство активно боролось с этим незаконным жанром. В самом начале двадцатых годов сослали неосторожного коллекционера, собравшего и пробовавшего классифицировать анекдоты. Он исчез навсегда. За ним последовали другие, пойманные на рассказе очередного анекдота другу, конечно, а не врагу. Несмотря на все меры, анекдота не победили. Этот летучий жанр непобедим. Есть анекдоты столичные, провинциальные, городские, деревенские. Анекдоты быстрее Самиздата

облетают всю страну. Я заметила, что в хрущевское время появились анекдоты не только за «нас» (здесь «мы» очень широкое и включает все виды интеллигенции, технократов, школьников и даже самых человечных таксистов), но и против «нас». Мы подметили их еще с Ахматовой. Они маскировались под обычный жанр, но были активно антихрущевские и часто антисемитские. Обслуживают они толпу, стоящую в очереди за пивом, и дружные компании, щелкающие костяшками домино во дворах. Зато «наш» анекдот расширил тематику и неотразим. В самое последнее время в нем сильнее, чем когда-либо, пробились гуманная тема и жесткое разоблачение принципиальных сторонников убийства «ради пользы дела»...

Кто-то выдумал, что Мандельштам был мастером анекдота. Это неправда: он любил анекдоты, смеялся, недоумевал, откуда они берутся, но его шутка принадлежит к совершенно иному разряду, чем анекдот, – острая сатира кратчайшего размера с фабульным построением. Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка, лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям – к Маргулису, ко мне, к Ахматовой. Это стишок-импровизация «на случай» или игра вроде тех, в которые он играл с моим братом, например совместное заявление в Комакадемию о том, что «жизнь прекрасна». В шутке Мандельштама всегда есть элемент «блаженного бессмысленного слова».

Партнерами по шуткам Мандельштама были еще Кузин и Яхонтов. В шутках Кузина всегда было нечто буршевское, чуждое Мандельштаму. Кузин обожал всякие буриме, а это не свойственно спонтанной и свободной шутке Мандельштама. Яхонтов в сочинении шуток не участвовал, но был их верным и точным исполнителем. В дружбе с Яхонтовым были приливы и отливы. Она началась в конце двадцатых годов, но тогда ни шуток, ни стихов не было. В тридцатых – приступы дружбы сопровождались целым ворохом стихотворных шуток, которые часто принимали форму диалога: «Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович – аж на Покровку она худого пустила жильца. – Бабушка, шубе не быть! – вскричал запыхавшийся внучек. – Как на духу Мандельштам плюет на нашу доху...» Мы прожили два месяца в наемной комнате на Покровке – в комнате женщины, уехавшей на работу в Сибирь, но – увы! – за комнату не заплатили. Кормилицей была я – Мандельштам подвергся уже полному остракизму, – но не выдержала, заболела и попала в Боткинскую больницу.

Зарабатывала я службой в газете «ЗКП» («За коммунистическое просвещение»). Смайл меня туда Маргулис: «Старик Маргулис под сурдинку уговорил мою жену вступить на торную тропинку в газету гнусную одну. Такую причинить обиду за небольшие барыши! Так отслужу ж я панихиду за ЗКП его души...» Лучшие «маргулеты» пропали. Их законом было – начинаться со слов «Старик Маргулис» и получать одобрение самого «старика»... Вот еще «зекапинная маргулета»: «У старика Маргулиса глаза преследуют мое воображение, и с ужасом я в них читаю „За коммунистическое просвещение«». Старик Маргулис с трудом примирился со следующей «маргулетой»: «Я видел сон, мне бес его внушил: Маргулис смокинг Бубнову пошил, но тут виденья вдруг перевернулись, и в смокинге Бубнова шел Маргулис», но зато любил песенку, как он на бульваре высвистывает с Мандельштамом Бетховена. Эту мне не вспомнить... Идиотское толкование невиннейшей шутке дал некто Осипов, ну его к черту... «Старик Маргулис из Наркомпроса, он не географ и не естествоиспытатель, к истокам Тигра и Эфроса он знаменитый путешественник...» «Тигр и Эфрос» – перелицовка «Тигра и Евфрата». Речь идет об Абраме Эфросе, великом дельце, соблаговолившем устроить Маргулису переводик...

Мы почти никогда не записывали стихотворных шуток. В Воронеже мне подарили твердый и чудный листок японской бумаги, и я записала все, что удалось вспомнить. Листок пропал у Рудаковой. Небольшая кучка шуток сохранилась в архиве. Одни записаны моим братом, другие Мандельштамом – в Воронеже. Я не знаю, чего стоит этот озорной жанр, – Шкловский и Харджиев презирают его, а нам он доставлял много веселья. Кое-что из шуток

вошло в основной текст («Это какая улица? Улица Мандельштама...», «У нашей святой молодежи...» и др.). Нет дома, на котором можно было бы прибить доску, что «здесь жил Мандельштам», нет могилы, чтобы на ней поставить крест, и в этой стране, которую мы называем своей, давно уже стараются растоптать все, что сделал Мандельштам. Так было, и так будет. Поэтому хорошо, что он успел переименовать целую улицу в свою честь: «Вот почему эта улица или, верней, эта яма так и зовется по имени этого Мандельштама...»

Маргулис умер в лагере почти одновременно с Мандельштамом, Яхонтов выбросился из окна в припадке страха, что идут его арестовывать. Как могли мы жить и смеяться, хотя всегда знали, какой нас ждет конец?

В преддверье

Мы жили на Тверском бульваре, и нам почему-то пришлось пойти в милицию, вероятно, для прописки. Прописки у нас никогда не отменяли, но в двадцатых годах процедура проходила довольно просто и страха не вызывала. В милиции всегда очередь. От скуки я разговорилась с крестьянской бабенкой, моей ровесницей, с отличным сосунком на руках. «Ты чего за такого старого пошла? – спросила она, разглядывая Мандельштама. – Выдали, что ли? А я себе сама взяла...» Мандельштаму было тридцать один или два, а девчонкин мужик, совершенный сопляк, казался лет на пять моложе жены. Такие браки в деревне не редкость – взяли примака, и бойкая жена потащила его в город на заработки. Очень она была бойкая – ей одна дорога: либо потом ее раскулачили, либо она сама раскулачивала соседей.

Дурацкий разговор врезался мне в память, потому что я тогда остро чувствовала, что Мандельштам не только по внешнему виду – он всегда выглядел старше своих лет, – но и всем своим существом достиг ранней, но настоящей зрелости. По-моему, основные мысли и представления – те, на которых строится личность, – сформировались у него очень рано, еще до двадцати лет. Об этом свидетельствуют ранние статьи, особенно «О собеседнике», которую он написал в двадцать один год. Мне смешно, что Лурье называет его «Божьим младенцем», а Никита Струве говорит о «божественном лепете» писем. В тех немногих письмах, которые написаны не мне, никакого лепета нет, а эти, случайно вырвавшиеся из-под моего контроля (я переписала их для Ахматовой, а она, не спросив, пустила по рукам), глубоко личные и показывают его отношение ко мне, совсем молодой, удивительно незрелой да еще больной девочке. Для него я всегда была младшей, которую нужно утешать, беречь да еще держать в руках, чтобы не наделала глупостей. Даже в письмах из Воронежа, когда мы оба отлично понимали, что нас ждет, а девчонская дурь давно исчезла, иногда мелькает фраза о безнадежности («Кто его знает, что еще будет», «Если будем жить», «Ничему хорошему не верю»), но тут же он обрывает себя, меняет тон и говорит, что мы сильные и «нам отчаиваться стыдно»... Он потому и болтает со мной в письмах, чтобы я улыбнулась и поборола отчаянье, сопротивляться которому было почти невозможно. Надо зачеркнуть «почти» – просто «невозможно».

Никита Струве думает, что Мандельштам не понимал «трагической изнанки благой вести», жил мечтой о золотом веке и обладал своеобразным хилиазмом. Так ли это? Хилиасты верят в царство гармонии на земле, а Мандельштам сохраняет духовное веселие при полном сознании трагического разворота истории и собственной судьбы. Накануне гибели он наслаждается «величием равнин» и тут же спрашивает, «не ползет ли медленно по ним тот, о котором мы во сне кричим, – народов будущих Иуда?» Сила Мандельштама в сознании своей свободы, в том, что он свободно принимает свой жребий и полон благодарности за все дарованное ему. Небо, воздух, трава, дыхание, любовь – вот сокровища, которыми он располагает. Он никогда не ставил себе целей, не обольщался призраками счастья или удачи, но свой «воздух прожиточный» ценил превыше богатства, славы, хвалы и ласки людей. Это не детские черты – ребенок не знает жизни и полон желаний. Он целиком зависит от окружающих и требует от них внимания. Внутренней свободой может обладать только воистину зрелый человек.

Разумные люди говорили о легкомыслии Мандельштама, и я тоже, потому что трехкопеечного благоразумия во мне сколько угодно. Они удивлялись его жизнелюбию, и я тоже, потому что любить эту жизнь, да еще в наше столетие, – слишком трудно. Все, кто писал о нем, изображали его почти дурачком – вечно смеется, денег зарабатывать не умеет (про это писал и Георгий Иванов, но употребил неточный термин: добывать не умел), словом – солидности никакой... Секреты добывания денег и раньше, и в наше время слишком про-

сты. Мандельштам их знал, но использовать не желал. И меня продавать не хотел – даже в газету...

Основная черта Мандельштама – он не боролся за свое место в жизни, потому что не хотел. Он не оболещал людей – «душеловцами» были все поэты и писатели, особенно в десятилетие. Мандельштам вполне сознательно на это не шел и жил в любых условиях – лишь бы я не пришла в полное отчаяние. Я была единственной собственностью Мандельштама, и он положил немало трудов, чтобы хоть немного, хоть чуть-чуть меня к себе приспособить, внушить мне хоть каплю своего миропонимания. Эту капельку я восприняла и потому знаю, в чем истоки его веселья и, радостного восприятия мира, которые были загадкой для мелких жизнелюбцев, ставивших то на одну, то на другую лошадку и скрежетавших зубами, когда не она прибегала к финишу.

Даже Ахматова не до конца понимала Мандельштама. В лучшую пору жизни в ней были сильная аскетическая струя и пафос отречения. Не находя ни того, ни другого в Мандельштаме, она терялась, потому что всех, особенно ее, настоящую женщину, тянуло к суждению по аналогии. По аналогии она пыталась судить и обо мне, и о наших отношениях с Мандельштамом и во многом, если не во всем, попадала впросак. Ближе Ахматовой у нас никого не было, и раз она не видела основных формообразующих сил Мандельштама, то от других ждать этого нельзя. Мне кажется, что время раскроет его сущность. Ведь его еще не прочли: трехтомник только вышел и мало кому доступен. Для меня это огромное счастье. Я не надеялась, что увижу изданного Мандельштама, буду держать в руках книги, делать заметки на полях, исправлять ошибки текстов и радоваться, что дело моей жизни сделано: книги есть, что-то пропало, но основное сохранено и существует. Кто мог на это надеяться?

Мандельштам упорно добивался, чтобы, сойдясь с ним, я стала соучастницей его судьбы и тревоги, особенно сильной не в конце жизни, когда все стало ясно, а в двадцатых годах (до «Четвертой прозы», написанной зимой 1929 года), потому что будущее еще смутно маячило, и он то обретал, то терял надежду, что люди опомнятся, очнутся, наладят жизнь, остановят братоубийство и кровопролитие. Иногда он начинал сомневаться в собственном зрении: уж не его ли ошибка, что он все видит не так, как огромные толпы? Но чаще он сознавал – и об этом есть в стихах, – что только потоки крови принесут исцеление и кто-то «своею кровью склеит двух столетий позвонки»... «На пороге новых дней» он чувствовал себя «захребетником», который трепещет и не может примириться с действительностью.

Мы были настолько оторваны от мира, что не отдавали себе отчета, насколько сходны процессы, проходящие в разных странах и в разной форме. Та форма, в которой они протекали у нас, была так наглядна, что поглощала все наше внимание. Жизнь как будто налаживалась, многим казалось, что она бьет ключом, но каждый день мы узнавали что-нибудь новое, наводившее ужас и уничтожавшее всякую надежду на исцеление. Должно быть, будущее отбрасывало тень на этот самый идиллический период нашей жизни: революционный террор кончился, на улицах не стреляли, ходили трамваи, открылись магазины и рынки. Прошел слух о больших арестах среди интеллигенции, но к нам забежал проститься Кузьмин-Караваев, участник первого «Цеха» (помнится, это был он), и в восторге рассказал, что всех арестованных выпустили на второй день и отсылают за границу. Он был католиком и решил ехать в Рим – поцеловать туфлю Папе Римскому. Кое-кто не захотел уезжать и сумел отбиться. В такой акции ничего жестокого не было – остракизм самая мягкая мера против инакомыслящих. Большинство утверждало, что совершился перелом и эпоха расстрелов кончилась – немного ссылают в Соловки, но молодое, неокрепшее государство должно обороняться, не то опять пойдет анархия и разруха... «Бросьте свои интеллигентские штучки»...

Нам рассказывали, что в Соловках ссыльные благоденствуют, работают, исправляются, издают газету... Показывали какие-то издания, поднесенные почетным гостем из главного

учреждения. Хозяева гордились таким гостем и распространяли «доверительные сведения», которые он сообщал за чайным столом. Мандельштам, когда я повторила нечто подобное, сказал, что еще ни разу не видел ссыльного, вернувшегося из Соловков, и пока не увидит, казенным слухам верить не будет. За всю жизнь я не видела ни одного человека, побывавшего в Соловках и уцелевшего. Чем это объяснить?

Ссылали в Соловки втихаря, прямо с Лубянки. Тех, кого высылали, иногда отпускали на день-другой для устройства дел. Они рассказывали о режиме во внутренней тюрьме, о методах допроса и о технических приемах следователей, набиравших силы для больших дел. Забежав на десять минут, они спешили уйти, чтобы справиться с ворохом неотложных забот. Я запомнила высокого синеглазого человека, знавшего Мандельштама по дому Синани. По иронии судьбы, он очутился в камере с белобородым дедушкой, известным работником охраны (не Дубровиным ли?). Тот сидел с первых дней октября, и обычно в одиночке. Ему придавали сокамерника, когда не хватало тюремной «жилплощади», и он радовался возможности поговорить. Он был смертником, но его использовали как консультанта. Своим опытом он охотно делился с работниками Чека – рад был послужить России...

Возвращаясь с Кавказа, мы на станциях и вокзалах впервые увидели беглецов с Волги – изможденные матери с маленькими скелетиками на руках. Однажды я видела ребенка после менингита – именно так выглядели приволжские дети. Все годы меня преследовало зрелище: умирающая от голода мать с живым ребенком или еле живая мать с умирающим ребенком: голод в Поволжье, голод на Украине, голод раскулачивания и голод войны плюс вечное недоедание. Одну из таких женщин я запомнила с ослепительной яркостью. Я шла с Жуковской улицы в Ташкенте в университет. Было это вскоре после войны. По дороге есть площадь, спланированная по прихоти Кауфмана наподобие парижской Этуаль. В сквере на площади сидела на земле, прислонясь к стволу высокого дерева, русская крестьянка с отекившим сизым лицом, ногами как кувалды и плетями беспомощных рук. Рядом ползал и смеялся хилый детеныш, годовалый или побольше. Возраст таких детей неопределим – рост замедляется, иной трехлетний выглядит годовалым. Я заметила, что глаза матери стекленеют. Она еще была жива, но потеряла сознание или отходила. Ребенок лапками загребал гальку и смеялся. Мимо шли откормленные люди – местные как-то пристраивались и жили сносно, а приезжие уже вернулись по своим домам. Подозвали милиционера, вызвали «скорую помощь». Развернули головной платок и нашли документы. Она завербовалась на работу и не то сбежала, не то не добралась. Узбеки добры к детям – они брали военных сирот всех национальностей, и они росли в крестьянских домах с узбечатами и, белокурые и голубоглазые, сами становились узбеками. Этого заморыша, наверное, спасли, а приволжские дети в стране, истощенной гражданской войной, погибали на всех дорогах и еще чаще на печи у себя в избе – рядом с матерью. Уходить было некуда – каждая корка хлеба была на счету.

О голоде в Поволжье ходили смутные слухи. По рукам ходило послание патриарха Тихона, бравшегося организовать помощь голодающим. Веселенькие москвичи посмеивались и говорили, что новое государство не нуждается в помощи поповского сословия. Где-то в Богословском переулке – недалеко от нашего дома – стояла церквушка. Мне помнится, что именно там мы заметили кучку народа, остановились и узнали, что идет «изъятие». Происходило оно совершенно открыто – не знаю, всюду ли это делалось так откровенно. Мы вошли в церковь, и нас никто не остановил. Священник, пожилой, встрепанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на пол. Проводившие изъятие вели шумную антирелигиозную пропаганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекающейся невиданным зрелищем. Церковь, как известно, надстройка, и она уничтожалась с прежним базисом.

Мы вечно повторяем, что с революцией открылась древнерусская живопись, прежде запрятанная под тяжелыми ризами, но как она открывалась, мы помалкиваем. И мы не вспо-

минаем, что несчетное количество икон было уничтожено и разрублено на щепки, масса церквей в Москве и по всей стране разрушена до фундамента. Хорошо, если церковь превращена в склад, – у нее есть шансы уцелеть. В Пскове я как-то стояла возле прелестной церковки – они там маленькие и замечательно гармоничные. Проходивший мимо человек рабочего вида остановился и спросил, знаю ли я, что церкви использовались как тюремные камеры, куда впритык набивали заключенных, когда в огромной старинной тюрьме не хватало места. Разговор начался шестидесятых годов. Он еще это помнил, скоро все забудется. Свидетели вымирают... Метод у меня анахронический, и я вспоминаю старуху, которую мы посетили с Фридой Вигдоровой, собирая материалы для «Тарусских страниц». Нищая койка, покрытая тряпьем, протекающий потолок, плесень, черепки, грязь. Старуху использовали для всех приезжающих журналистов – у нее был ловко подвешенный язык. Активная колхозница, она работала безотказно, куда бы ее ни послали. Она балясничала как хотела, и Фрида вдруг спросила: «А икон у вас нет?» – «Я не верю в иконы, – ответила старуха, – я верю в Советскую власть»... Нас ждала машина, мы удрали от старухи, и Фрида сказала: «Много ей дала советская власть. Вы видели, как она живет?» Старухе уже тогда было вроде как семьдесят, и года через три ей выдали, если она дожила, пенсию. Милостивец Хрущев дал пенсию сначала городским, а потом – деревенским старикам. Вера говорливой старухи воплотилась в тридцатку, а когда-то она, наверное, улюлюкала, когда разоряли церковь в ее родной деревне. У нее была обида на Бога за то, что он не набил ей карманы золотом. Я не знаю, жив ли остался священник, по лицу которого катились слезы. У него был такой вид, что вот-вот его хватит удар. Я помню растерянный вид Мандельштама, когда мы вернулись домой, поглядев, как происходит изъятие. Он сказал, что дело не в ценностях. Бывало, что снимали колокола и отливали из них пушки. Бывало, что все церковное золото отдавалось на спасение страны. (Я помнила с детства: «заложим жен и детей»). Он сказал, что церковь действительно помогла бы голодающим, но предложение Тихона отклонили, а теперь вопят, что церковники не жалеют голодающих и прячут свои сокровища. Одним ударом убивали двух зайцев: загребали золото и порочили церковников. Он еще сомневался, что добытые средства дойдут до голодающих, а не будут истрачены на «мировую революцию»... Недавно в одном из журналов, самом «прогрессивном», печатались мемуары женщины, с иных позиций наблюдавшей «изъятие». Она ездила в голодающие районы распределять помощь. Людей накормить не удалось, но им дали посевной материал, и они, питаясь лебедой и падая с голоду, все же засеяли поля. Женщина – настоящая последовательница Ленина, и ее гуманное сердце сочилось кровью от жалости. Ей не пришел в голову вопрос, почему всех церковных богатств, накопленных веками, не хватило, чтобы накормить сравнительно небольшой и обезлюдевший район, а если б она задумалась, то обвинила бы жадных церковников. Кто помнит голодные толпы в городах и крестьян, молча умирающих на печи, холодной и облупленной? В России умирают молча.

Мы случайно зашли в церковь и услышали улюлюканье и вой старух. Перед нами мелькали разрозненные картины действительности, не складываясь в целое. Все, что до нас доходило, было случайностью, деталью, моментом. Противоречивые слухи освещали жизнь с самых разных позиций. Двадцатые годы до сих пор считаются периодом законности и общего процветания. Процветал театр Мейерхольда, начиналось кино, гремел Маяковский, и шевелили ластами попутчики. Меня нередко обвиняют в субъективизме, потому что я помню не только тридцать седьмой год, но и более ранние события, когда велась борьба с «чуждыми элементами» – церковниками, масонами, идеалистами, мужиками, инженерами, обыкновенными людьми, из которых в боксах выжимали золото, собирателями анекдотов и с подозрительными интеллигентами. Я помню толпы нищих, наводнявших города до и во время раскулачивания. Я смотрела на все глазами Мандельштама и потому видела то, чего не видели другие. Брик был прав – он был «чуждым элементом», не ходил в салоны к пра-

вительственным дамам и так и не познакомился с Аграновым. Вокруг шумел веселый город, и казалось, что скоро начнется настоящая жизнь и мы стоим в преддверье. Так и произошло: люди получили то, чего хотели и чему сами способствовали, развивая в себе слепоту, жестокость и тупость.

Первые ссоры

Аскетизма в Мандельштаме не было ни на грош, а желаний – сколько угодно. Его всегда тянуло на юг, он любил светлые большие комнаты, бутылку сухого вина к обеду, хорошо сшитый костюм, а не стряпню из Москвошвея, а главное – румяную булочку, предмет наших вожделений после первого, еще непривычного голода. Он любил порядок и упорно клал на место вещи, которые я разбрасывала по всей комнате. Я замечала у мужчин шизофреническую страсть к порядку, но у Мандельштама было нормальное отношение к комнате, а я божемничала. Зато пыль я вытирала – даже на шкафу...

В начале двадцатых годов мы как бы притирались друг к другу, а это не простое дело. Первый громовой скандал разразился, когда я улизнула на аэродром, где по благу меня покружили на учебной машине и я узнала, что такое «мертвая петля». Домой я вернулась полная впечатлений, но рассказать о воздушной прогулке мне не пришлось. В «Путешествии в Армению» есть несколько слов о «мертвых петлях», но я здесь ни при чем. Он выслушал не меня, а Борю Лапина, которому устроил полет тот же человек, что и мне, вскоре разбившийся где-то над Кавказским хребтом. Человек этот был странный, с чрезмерными связями, и Мандельштама возмущало, что я его пускаю в дом. Я пускала всех и ничего не понимала ни в людях, ни во времени.

«Мертвые петли», о которых я сейчас ничего не слышу, тогда были модной новинкой, а я не могла не соблазниться модой. Мандельштам решительно не понимал, откуда у меня берутся желания, которых у него нет. Ему хотелось, чтобы я всегда ждала его, и только его одного, как невеста Алексея: «А я думала, ты вернешься, приласкаешь меня немножко...» И ему не хватало во мне «важной замужней прелести», как он выразился потом про армянских крестьянок. Но я совсем не отличалась ни кротостью, ни терпением, и мы ежеминутно сталкивались лбами, шумно ссорились, как все молодые пары, и тут же мирились. Он ловко перелавливал меня, когда я норовила сбежать – не навсегда, а немножко, и вдавливал мне в голову, что пора крутни и развлечений кончилась. Я ему не верила – всюду девчонки-жены старались улизнуть и развлечься, а мальчишки-мужья скандалили, пока не находили и для себя какой-нибудь забавы. Я не понимала разницы между мужем и случайным любовником и, сказать по правде, не понимаю и сейчас. Я знаю только, что у Мандельштама было твердое ядро, глубокая основа, несвойственная людям ни его поколения, ни последующим. У него существовало понятие «жена», и он утверждал, что жена должна быть одна. Мое поколение, собственноручно разрушившее брак, что я и сейчас считаю нашим достижением, никаких клятв верности не признавало. Мы готовы были в любой момент оборвать брак, который был для нас лишь случайно затянувшейся связью, и не задумываясь шли на развод, вернее, на разрыв, потому что браком-то, в сущности, не пахло. Удивительно, что из этих подчеркнута непрочных связей сплошь и рядом возникали устойчивые союзы, гораздо более прочные, чем основанные на лжи и обмане приличные браки старших поколений. Мы сходились, не заглядывая вперед, а потом выяснялось, что расставаться не хотим и не можем. Еще хорошо, что, нищие до ужаса, мы не знали денежных расчетов и они совсем не участвовали в наших любовных коллизиях. Любой мальчишка раздобыл бы булочку для своей подруги.

Так было и у нас с Мандельштамом. В Киеве, как я говорила, мы бездумно сошлись на первый день, и я упорно твердила, что с нас хватит и двух недель, лишь бы «без переживаний». ... Когда он привез меня в Москву – перед Грузией, – я смертельно обиделась на Экстер, которая сказала Таирову: «Вы помните мою ученицу – она вышла замуж за Мандельштама». Я сочла это сплетней и вмешательством в мои личные дела: какое кому дело, с кем я живу!.. Постепенно я убедилась, что, как ни верти, меня все равно считают женой Мандельштама, и

постепенно свыклась с этой мыслью. Мандельштам смеялся над моей дурью, ругал за нигилизм и медленно, но твердо брал меня в руки.

Сам же Мандельштам, несмотря на твердую основу, тоже был человеком своего поколения, и в его голове скопилось немало дури в причудливом сочетании с основой. Его возмущала моя готовность к разрыву, а я восставала против петербургской накипи, пахнувшей «жоржиками» и «Собакой». Он сильно влиял на меня, делал меня для себя, но и я чем-то меняла его своей нетерпимостью и готовностью расстаться в любой момент.

Однажды Мандельштам потребовал, чтобы я говорила ему «ты». В первые годы дневным словом у меня было «вы», как у большинства моих современниц. Скорее всего, оно само собой перешло бы в «ты», но Мандельштам был нетерпелив и сообщил мне об этом согласно правилам, усвоенным в «Собаке»: «Девчонок, которым я говорю „ты“», а они мне „вы“, будет сколько угодно, а ты – мое „ты“». ... Сейчас я думаю, что «мое ты» появилось не без Флоренского, которого тогда еще не удосужилась прочесть, но тогда все внимание обратила на «собачьи» прелиминарии. Я ответила, что меня вполне устраивает роль девчонки «ты-вы», а если ему нужна другая – ими и не пахло, – пусть уходит, а не то я уйду к кому-нибудь из мальчишек. ... Мандельштам искренно удивился: у всех его петербургских друзей водились «девчонки», и они нисколько не мешали существованию приятных жен. Он знал еще, что с виду непреклонные дамы «в спальню, видя в этом толк, пускали негодяев». Этого он для себя не хотел и с меня не спускал глаз. Мне он упорно внушал, что вся мировая литература занималась изменой женщины, не придавая ни малейшего значения мужской измене. Я перевела это на бабью мудрость: мужчина несет из дому, а женщина в дом, но так как у нас дома не было, обещала в случае чего «отнести в другой дом».

Ссоры вспыхивали зря, на пустом месте, и прошло немало времени, пока мы на опыте убедились, что измена, будь то со стороны мужчины или женщины, не радость, не веселое порхание бабочек, а настоящая беда. Но всю жизнь он стремился, чтобы я устроила ему сцену, поборолась за него, расшумелась, раскричалась. По неписаным законам моего поколения нам этого делать не полагалось, и единственный раз, когда я разбила тарелку и произнесла сакраментальное: «Я или она», он пришел в неистовый восторг: «Наконец-то ты стала настоящей женщиной!» Случилось это гораздо позже, и вообще эти проблемы прошли в нашей жизни боком, никакой роли не сыграв, и были случайным и минутным хмелем, как с моей, так и с его стороны. Не будь «собачьих» правил, их бы и совсем не было. Ведь в таких вещах важна мода, обычай, общая настроенность, а мы вопреки моде, видимо, боялись потерять друг друга и потому не решались устраивать пляску веселых мотыльков.

Для сегодняшнего дня все мои концепции устарели – женщина упала в цене и отчаянно строит дом, насильно удерживая капризного, сопротивляющегося мужа. В иных случаях она бешено самоутверждается, чтобы повысить себе цену, и жалуется равнодушному мужу, как ей не дают прохода ни на улице, ни на службе. ... Самое противное смотреть, как они предлагаются или отчаянно утаскивают к себе бедных героев – лестью, угрозами самоубийства и тысячами дешевых трюков. Это началось уже в дни моей молодости, а сейчас расцвело во всю силу. Я слышала о старике, который бросил жену, прожив с ней лет сорок. Он оставил записку, что все прошлое было ошибкой. Я за разводы в молодости, чтобы не случилось затяжных ошибок.

А для моего поколения безнадежно устаревшим казался культ «дамы», душевных переживаний, возникших от случайной встречи, «друга первый взгляд» и те полуотношения, которые культивировались женщинами на десяток лет постарше меня наравне с разрушающейся, построенной на взаимном обмане семьей со знаменитым «одиночеством вдвоем». ... Честно говоря, я не верю в любовь без постели и не раз шокировала Ахматову прямым вопросом: «А он вас просил переспать с ним?» Есть еще один измеритель, вызывавший все-

общее возмущение: «Сколько он на вас истратил?» Возмущались и «дамы», иначе говоря, ободренные кошки, и энергичные девицы новых поколений. Значит, я попадала в цель...

Для нас с Мандельштамом все обстояло иначе. В дни сначала добровольной, а потом вынужденной изоляции, которая продолжается и по сегодняшний день, человек ищет свое «ты», и Мандельштам из меня, случайной девчонки, упорно делал жену. Роль «жены» мне не подходила, да и время не способствовало образованию жен. Жена имеет смысл, если есть дом, быт, устойчивость, а ее не было в нашей жизни, а может, никогда больше не будет. Все мы жили и живем на вулкане. Жена организует дом и быт, у нее есть права и обязанности – помимо любви и страсти. В наши дни подружка была сподручнее жены. Подруга разделяет судьбу, а прав у нее нет никаких. Прав мне не нужно было никаких – в любви на «праве» далеко не уедешь. Домом не пахло – земля всегда тряслась под ногами. Вот почему я яростно отбивалась от устаревшей и нелепой роли жены и вместо этого стала веселой и бесправной подружкой. По-моему, Мандельштам только от этого выиграл: ведь подружка – это и есть «мое ты»...

А наши антагонисты, те, которые убивали наших близких, уже укрепляли семью и величали своих жен «супругами». Им казалось, что они прочно стоят на ногах, а на самом деле они погибали с такой же легкостью, как мы, вместе со своими супругами. Мне всегда было любопытно, что думает женщина, живущая с убийцей. Скорее всего, она не думает ничего и только умиляется тому, что ее муж – прекрасный семьянин.

Мне пришлось столкнуться с брачными идеями десятых годов в несколько ином разрезе. В Москве один за другим мелькнули Георгий Иванов и Ходасевич. Они оба устраивали себе отъезд за границу. В начале нашей эры и мы, и фашисты легко отпускали людей на волю. Потом все мы стали носителями государственной тайны, поскольку знали, что у нас делается совсем не то, что пишется. Тогда-то нас пригвоздили к земле и каждый разговор с иностранцем стал квалифицироваться как шпионаж. От нас выпускали за границу самых отборных, зернышко к зернышку, и впускали тоже отборных – вроде Арагона с супругой. Строя свою карьеру на любви к нам, они отлично вели пропаганду у себя дома. Говорят, он сейчас обиделся на людоедство и подписывает какие-то протесты. Почему же он забыл, что кормился с людоедского стола?² Пусть только не притворяется, что ничего не подозревал. Он все знал и слышал в родственных домах немало людоедских разговоров... Не знали только те, кто знать не хотел, а это не оправдание.

Мне кажется, что в начале эры у наших хозяев была еще вера в свою правоту и поэтому они так легко выпускали желающих. Первым приехал Георгий Иванов. Он оставил у нас чемоданчик, убежал по делам, вернулся к вечеру и сразу отправился на вокзал. Он показался мне чем-то вроде мелкого эстрадника или парикмахера, и я удивилась, зачем они с такими водились. На этот раз Мандельштам не мог свалить на Гумилева, как в случае с Городецким.

² Далее следовало: Не сравнивайте его с Эренбургом, который разделил нашу жизнь – а она постоянно висела на волоске – и первым заговорил о погибших, отчаянно пробивая каждое слово, каждую строчку и каждое упоминание о мертвых. Ему не пришлось говорить полным голосом, потому что, заговори он так, ничего не попало бы в печать. Особенность Эренбурга в том, что он умел стоять на грани дозволенного и тем не менее открывать истину среднему читателю. Инженер, средний технократ, сотрудник научных институтов – вот читатель Эренбурга, чьи нравы и взгляды он постарался смягчить. В начале шестидесятых годов была особая мерка для среднего интеллигента – читал он уже Эренбурга или нет. С человеком в «доэренбурговском состоянии» разговаривать не следовало, прочитавшие Эренбурга доносов не писали. Смягчал нравы и Паустовский, но в несколько ином плане: он открывал мелким служащим – бухгалтерам, счетоводам, учителям, что есть простая жизнь, речка, солнце, цветы, деревья и можно проявить чуточку доброты – накормить кошку, улыбнуться соседу, не напакостить сослуживцу... И Паустовский, и Эренбург подготовили читателей Самиздата в едва очнувшейся от террора стране. Роль Эренбурга значительнее, чем Паустовского, потому что он затронул политическую тему, но отношение к нему хуже. Прочтя Эренбурга, читатель начинал что-то соображать и шел дальше, обижаясь, что получил неполную правду от первого просветителя. Со свойственной людям неблагодарностью он собирал факты, о которых умалчал Эренбург, делал выводы, не сделанные Эренбургом, и пожимал плечами: знаем мы этих осторожных чиновников и писателей... Он забывал, кому обязан своим пробуждением от гипнотического сна, а забывать такие вещи не следует...

Из его невразумительных объяснений я поняла, что он ценил в Георгии Иванове любовь к стихотворной шутке и вообще к стихам. В воспоминаниях Одоевцевой я прочла, будто я ходила в костюме Мандельштама и накормила гостя отличным обедом. Кто из них врет, я не знаю, но думаю, что Иванов застал меня в пижаме. У меня была – синяя в белую полоску. В Петербурге еще не знали пижам, и у меня там несколько раз спрашивали: «Это у вас в Москве так ходят?..» Эта пара – Иванов и Одоевцева – чудовищные вруны. Какая мерзкая ложь – рассказ о последней встрече с Гумилевым или об откровенностях Андрея Белого, встретившего Одоевцеву в Летнем саду. Запад, впрочем, все переварит.

Ходасевич пробыл в Москве несколько дней и два-три раза заходил к нам. В Союзе поэтов ему устроили вечер, куда собралась по тому времени огромная толпа. Его любили и любят и сейчас. Нынешняя молодежь знает и стихи, и желчную прозу Ходасевича, но в Самиздат он не прорвался, зато книги идут по высокой цене. Многим близка и растерянность, и боль этого поэта, но его поэзия не дает просветления. В нем горькая ущербность, потому что он жил отрицанием и неприятием жизни. Только подлинная трагичность, основанная на понимании природы зла, дает катарсис.

Ходасевич был весел и разговорчив. Его радовала перспектива отъезда. Он рассказывал, что уезжает с Берберовой, и умолял никому об этом не говорить, чтобы не дошло до его жены, Анны Ивановны Ходасевич, сестры Чулкова: «Иначе она такое устроит!» В испуге Ходасевича мерещилось что-то наигранное, притворное. Меня поразило, что он смывается втихаря от женщины, с которой провел все тяжкие годы и называл женой. Мандельштам тоже поморщился, но не в его привычках было осуждать поэта: видно, так надо... Он сказал мне, что Ходасевич человек больной и Анна Ивановна ходила за ним, как за ребенком. Жили они трудно, и, по словам Мандельштама, без жены Ходасевич бы не вытянул. Она добывала пайки, приносила их, рубила дровешки, топила печку, стирала, варила, мыла больного Владека... К тяжелому труду она его не допускала. Вскоре я с нею познакомилась.

Она щебетала как птичка, жалела Владека, объясняла, какие у них были отношения («Владек такой больной – ему все вредно»), огорчалась, что он скрыл от нее свой отъезд, и всем показывала новые, полученные из-за границы стихи. Дурного слова о Владеке она не сказала и уверяла, что любит только его. В трудную минуту моей жизни она уговаривала меня бросить Мандельштама, а он, узнав об этом, взбесился и больше меня к ней не пускал. А она так боялась, что «он бросит вас, как Владек меня»... У нее была голова итальянского мальчика и вечные несчастья с теми, кого она любила. Пастернак пробовал спасти какого-то юнца³, ее почти последнюю любовь, но ничего не вышло, и Анна Ивановна пролила много слез. Однажды я уже в очень поздние годы встретила ее в трамвае, и она показала мне тетрадку со стихами Ходасевича. Бедное, легкомысленное и до ужаса преданное существо... Ходасевич и Георгий Иванов, не сговариваясь, сообщили Мандельштаму, что я для него абсолютно не подходящая жена: слишком молода и беспомощна. Думаю, они тоже считали Мандельштама «Божьим младенцем», который нуждается в опеке. В молодости Мандельштам наслушался, как все его приятели – типа «жоржиков» – ищут богатых жен. После всеобщего разорения появился новый идеал: энергичная жена, устраивающая дела расслабленного мужа. Мандельштам, не подумав, сообщил мне отзывы своих опытных друзей. Я только ахнула от несоответствия двух желаний: «мое ты» и энергичная жена-опекунша. К счастью, к тому времени я уже заметила, что Мандельштам не переносит энергичных и волевых женщин. Будь я такой породы, он бы сбежал от меня с любой беспомощной девчонкой. И по духовной структуре, и по физиологическим свойствам он принадлежал к тем, кто не терпит опекунов и к женщине относится как к подопечному и не совсем полноценному существу: испуганный глаз, недотрога, врушка и еще лучше – дурочка... Женщину

³ Далее следовало: которого посадили в начале тридцатых годов.

нужно обязательно увезти из дому – идеал: умыкание. Она должна быть гораздо моложе и всецело зависеть от мужа. В очень ранней молодости он еще не вполне сознавал свои вкусы и поддался культу «красавиц», который отчаянно поддерживала Ахматова. Наверное, настоящие красавицы успели удрать и я видела только ошметки, но они были до ужаса смешны. Я запомнила одну, навещавшую Ахматову в Ташкенте. Она иногда оставалась ночевать у нас – по городу ночью было страшно ходить. Раздеваясь, она поглаживала желтые, как пергамент, ноги и говорила: «Мое тело!» Они вспоминали с Ахматовой прошлое и хвалили дочку пергаментной красавицы, милую и скромную, но носившую по прихоти матери древнегреческое имя – остаток старого культа, перенесенного на новое поколение.

Уже в «Египетской марке» Мандельштам отрекся от «красавиц», и с годами его основные черты стали проявляться все резче. Он немедленно прекращал всякую попытку с моей стороны шевельнуться, начать работать, а тем более зарабатывать. Его сердило малейшее проявление самостоятельности, и он бы много отдал, чтобы сделать меня не такой насмешливой и брыкливой. А сам-то он так здорово насмешничал и дразнил меня, что это могла вынести только я, приученная двумя старшими братьями согласно правилам высшей школы верховой езды...

В годы воронежской ссылки, когда мне поневоле приходилось что-то для Мандельштама делать, он страшно этим тяготился. Зависеть в какой-либо степени от жены казалось ему невыносимым. Так я и просидела возле него всю нашу совместную жизнь и нисколько об этом не жалею. Был бы он жив, я бы и сейчас тихонько сидела рядышком, не вмешиваясь в разговоры. Ни к чему другому я бы не стремилась. Вся моя активность была вынужденной – иначе я бы утонула в первой луже с той кучкой бумаг, которую взялась сохранить.

О мудрой теории Георгия Иванова и Ходасевича насчет деловых и энергичных жен я при Мандельштаме рассказала Сусанне Мар (Чулхушьян), озорной «ничевоичке» с классически прекрасной головой и чуть короткими, как бывает у армянок, ногами. Сусанна непрерывно молола чушь, но ее трепотня таинственным образом не разрушала, а укрепляла человеческие связи. Она издевалась надо мной, что Оська меня держит взаперти и никуда не пускает, и сама же – неизвестно каким трюком – убеждала не брыкаться и слушаться старших. Услышав рассказ про Жоржика, она рассмеялась и пропела песенку, развеселившую нас обоих: «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет, молочко он попивает и молочницу...» Как только энергичная жена превратилась в молочницу, «собачье» наваждение рассыпалось, и хитроумного Жоржика мы вспомнили лишь после того, как он стал промышлять мемуарами о своих знакомых, которые сидели с кляпом во рту и не могли даже отругнуться.

А Сусанна взяла себе самого нищего мужа, Ивана Александровича Аксенова, умного и желчного человека, знатока кубизма и Шекспира. Она никогда его ничем не обидела, а жили они в комнате с потолком, подпертым балками, чтобы он не обрушился на голову. Яркая и болтливая Сусанна была одной из редкостных женщин, равнодушных к домостроительству и благополучию. Мы надолго потеряли ее из виду и вдруг встретили в период наших блужданий по Москве тридцать седьмого года. Она посмотрела на меня и сказала: «Надька на ногах не держится... Ну, ничего: у Антигон выходных дней не бывает...»

Я всегда завидовала Антигоне – не той, что была поводырем слепого отца, а более поздней, которая отдала жизнь за право похоронить брата. Право на последнюю дань мертвым, право прощаться с ними и предавать их земле – один из основных связующих обычаев всех племен и всех народов. За это право боролась тихая Антигона и в защиту его восстала на дурного правителя своей маленькой страны. Хорошо жить в маленькой стране, где можно громко заявить о своем праве и выкрасть запретное мертвое тело, а не бродить, как Пушкин, а потом мы вдвоем с Ахматовой, по острову Голодаю и странным рощам под Петербургом, куда молва посылала нас в поисках могилы расстрелянного поэта.

В могущественных державах двадцатого века, прославляемых некоторыми поэтами и многими трибунами как единственная надежда человечества, властители и цари находились на такой головокружительной высоте и в такой ослепительной изоляции, что никакие человеческие голоса не достигали их слуха. Миллионы неосуществившихся Антигон прятались по углам, заполняли анкеты, ходили на службу и не смели не то что похоронить, но даже оплакать своих мертвецов. Плачущая женщина немедленно потеряла бы службу и сдохла с голоду. Медленно подышать с голоду гораздо труднее, чем быть казненной. И на службах-то мы голодали, а без нее пусть уж вам расскажут арагоны, каково нам жилось...

Я уважаю статистику и хотела бы знать, сколько женщин не похоронило своих отцов, братьев и мужей. Военные вдовы получили похоронки, а лагерные и тюремные – да и то далеко не все, а только те, у которых мужья были арестованы не раньше тридцать седьмого года, – посмертные реабилитации с наугад проставленной датой смерти. У огромного большинства выставленные даты падают на годы войны, но совсем не потому, что они умерли в военное время. Скорее всего, это попытка слить два вида массовых смертей – в лагерях и тюрьмах и на войне. Кто-то захотел запутать статистические подсчеты, которых никогда не будет. И никто не узнает места захоронения своих близких. Ямы, куда бросали людей с биркой на ноге, неприкосновенны. Быть может, когда-нибудь перекопают «зоны» лагерей, чтобы сжечь кости или сбросить их в океан. Для того чтобы скрыть прошлое, призовут старых «работников» или их верных сыновей и отвалят изрядную сумму. Прошлое скрыть нельзя, даже если статистики нет. Каждый уничтоженный человек еще скажет свое слово.

Я, вдова, не похоронившая своего мужа, отдаю последнюю дань мертвецу с биркой на ноге, вспоминая и оплакивая его – без слез, потому что мы принадлежим к бесслезному поколению. Каждую минуту я жду, что ко мне явятся и отнимут мои записки. Добровольно их я не отдам. Забрать их можно только со мной. Если это случится, я перестану завидовать Антигоне.

Обрывки воспоминаний

У Мандельштама есть запись: «Действительность носит сплошной характер, проза – прерывистый знак непрерывного». Воспоминания тоже прерывистые знаки, и нельзя их растягивать в сплошную линию. Этой записью Мандельштам показал, что не хочет отдавать дани погоне за длительностью и непрерывностью, которая захватила всех в первой половине нашего века. Мне думается, что к поискам непрерывности, к воспроизведению процессов в их течении, к погоне за длительностью привела какая-то особая – почти физиологическая – жажда, желание ощутить и всеми пальцами ощупать текущее – время, жизнь, движение, процессы... Эта потребность, столь сильная в литературе, проявилась, вероятно, во всех областях мысли, искусства, науки. Остановленное мгновение, замедленная съемка, разложение на мельчайшие частицы вещества – явления одного ряда и вызваны потребностью снова пережить уже прожитое, воспроизвести в движении уже происходившее, неслыханно растянуть каждый миг, чтобы он из мига стал длительностью.

По мере того как нарастали темпы, нарастала ценность мгновения. В глазах мельтешило от быстрой смены движений, и футуристы, восхваляя скорость, цеплялись за мгновение. Мандельштам отказался от попыток воссоздать непрерывность, но его любовь к замедленному – медленный вол, медлительные движения армянских женщин, тягучая и долгая струя меду, когда он льется из горлышка бутылки, – все это вызвано тем же желанием ощутить ход времени: «Но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера...» Длительность для Мандельштама не самоцель, а, может быть, поиски Духа, жажда благодати: «Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианства пью холодный горный воздух... И с христианских гор в пространстве изумленном, как Палестины песнь, нисходит благодать». Иногда это попытки ощутить вечность: единственный остановленный миг – Евхаристия: «Евхаристия как вечный полдень длится», потому что соучастники таинства через него приобщаются к вечности: «Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит». Ощущение мига как вечности, мечта «о луговине той» заглушаются «шумом времени», который есть «ход воспаленных тяжб людских».

Мандельштам остро сознавал единство жизни и личности и поэтому никогда не стремился к воссозданию моментов прошлого. Жизнелюбивый, он полностью – до дна – изживал текущее время и не искал повторения. «Все было встарь, все повторится снова» – констатация единства людей, общности их жизнеощущения, а не утверждение, что миги единой жизни повторяют друг друга. В частности, переживание длительности и непрерывности Мандельштам всегда черпает в объекте, а не воссоздает свои собственные переживания. Сосредоточенность не на себе, а на объекте лишала смысла всякое повторение моментов прошлого. Именно поэтому он мог сказать про себя, что память его враждебна всему личному. В «Листках из дневника» (дневника, кстати, никакого не было) Ахматова правильно отметила, что Мандельштам не любил вспоминать. Я прибавлю, что характер его воспоминаний всегда был фрагментарным и никогда не был личным. Иногда – довольно редко – он рассказывал о том, что видел или с чем столкнулся, и всегда его рассказ был знаком прошлого, неизбежно чем-то связанным с настоящим. Он запомнил, например, как столкнулся в коридоре «Метрополя» с группой меньшевиков, только что выгнанных из Совета. Они шли навстречу ему и громко негодовали, перебирая слова ораторов, которые требовали их изгнания. Мандельштам посторонился, пропуская их, и услышал: почему лакей?.. Мандельштам рассказал эту сцену, потому что к воспоминанию толкнул его вывод: «Они всегда, с первых дней, употребляли не слова, а крапленые карты...»

Я думаю, что Мандельштам умел так полно изживать время, потому что был наделен даром игры и радости. Ни в ком и никогда я не видела такой игры и такой радости. Когда он

ушел из моей жизни, я, мертвая, жила брызгами радости в стихах и бесповоротным запретом самоубийства. Именно потому, что Мандельштам жил «пространством и временем полный», у него не было потребности возвращаться назад, и жизнь его отчетливо делится на периоды. Труд и жизнь у него связаны и неразделимы, и периоды жизни полностью совпадают с периодизацией поэтического труда. В стихах всегда отпечатываются события жизни. Они совпадают во времени. Проза всегда запаздывает: знаки должны осмыслиться и отстояться. Для этого нужен срок. Оставаясь самим собой, сохраняя полное единство личности, Мандельштам чем-то менялся в каждый период. Это был рост, а не перемены в человеке. События внешней жизни подстрекали внутреннюю жизнь, но не являлись ее причиной. Внутренняя жизнь, пожалуй, в большей степени определяет внешние события, чем наоборот. Что же касается до катастрофичности большинства биографий нашей эпохи, то они уж, во всяком случае, не формировали личность, а скорее расплющивали ее. Нужна была огромная сила, чтобы, несмотря на гнет и удушье, сохранить способность к росту. Это оказалось возможным только для людей, чья личность строилась на формообразующей идее такой мощи, что не внешние события влияли на рост личности, а отношение человека к внешним событиям. Все, что нам завещал девятнадцатый век, – наука, знание, гуманизм, анализ, не говоря уж о таких понятиях, как прогресс, культура, отвлеченные формы деизма, теософия, рационализм и позитивизм, не помогли никому сохранить себя. Все это только содействовало тлению и распаду. Мы видели этот распад и со стыдом отворачивались. Наибольшая опасность для Мандельштама заключалась в гуманизме – в русском понимании этого слова. Отсюда доверие к поискам социальной справедливости и ужас при виде нарастания жестокости и обмана. И я не перестаю удивляться силе Мандельштама и богатству внутренних ресурсов, которые дали ему возможность прожить полную жизнь и, не расплющившись, дойти до конца дороги. Таким он был до той последней минуты, когда я его видела, – до ночи с первого на второе мая 1938 года. Это и был конец дороги, потому что то, что было на Лубянке и за колючей проволокой, гораздо страшнее газовых камер.

Я не могу назвать того, что строило личность Мандельштама, потому что его основная идея не поддается простой формулировке. Скорее всего, это отношение к поэзии как к дару свыше, как к назначению, а также вера в священный характер поэзии («игра Отца с детьми»). Второго человека, который бы все дни находился на линии огня и все же сохранил способность к мысли и к росту, я не видела. На линии огня не выдерживал никто. Люди сохраняли человеческие черты только в стороне от событий, но вряд ли они могли углубляться и расти. К тому же люди, способные к духовному росту и труду, принадлежали к старшим поколениям и были уничтожены почти сразу. Я недавно прочла, что Флоренский был арестован в тридцатом году, но мне кажется, что до этого он – в середине двадцатых – уже побывал в ссылке. В нашей невероятной разобщенности возможны любые ошибки, но я помню, что приступ отчаянья Мандельштама в связи с несчастьем Флоренского происходил в двадцатых годах, а в тридцатых мы уже не слышали ничего. Люди поколения Мандельштама и Ахматовой сдавались без борьбы или жили затаившись. Те, которые не сдались, люди твердой религиозной мысли, погибали мученической смертью.

Ахматова черпала силу в противостоянии. Ее поэтический труд не поддается отчетливой периодизации и больше связан с внешними условиями, чем с внутренним ростом. Когда ее оставляли в покое, она возвращалась на безмятежные и чистые пути. Ей помогали сохраняться отдаленность и изоляция, но удары, как известно, падали на нее и в ее уединении. К счастью, ей досталась спокойная старость – десятилетие почти мирной, хотя и неустроенной жизни. Она сохранила способность работать и в последние годы жизни, и в этом ее удача. Удивительно, что всякая передышка пробуждала в Ахматовой не черты зрелости с ее аскетизмом и самоотречением, а молодой эгоизм, страсть к успеху и легкомысленную веселость.

Я смеялась над ней, но была рада этим чертам старости. Она иногда на минуту обижалась, а потом смеялась вместе со мной.

Когда я с порога, на котором стою сейчас, оглядываюсь на свою жизнь, в ней я отчетливо вижу одновременно и единство, и отчетливую и резкую периодизацию, но у меня она вызвана исключительно внешними обстоятельствами. Детство для меня – подготовительный период и больше ничего. Я вообще не понимаю чрезмерного внимания к собственному детству. Мне кажется, что расцвет интереса к детству имеет что-то общее с потребностью восстанавливать непрерывность и вторично переживать уже пережитое. Это черта эпохи, связанная, быть может, с ростом индивидуализма, который мешает правильному созреванию и росту личности. В нашей стране этому способствовало искусственное ограничение личности, невозможность возмужания, затаенность испуганных и неполноценных людей. Но спасение в собственное детство – всегда признак неполноценности. Как ни странно, но я прощаю только любимому мной Набокову его сомнамбулический экскурс в собственное детство. Разлученный с родной страной, со стихией языка и исторической жизни, потерявший отца так, как он его потерял, Набоков воспроизводит идиллию детства как единственное, что корнями связывало его с землей отцов. Он был лишен возмужания, потому что прожил жизнь в изгнании.

Возмужание происходит лишь в тот период, когда человек начинает сознавать свою ответственность за все происходящее в мире, но в нашей стране это исключалось. Взамен у взрослого человека появлялся гипертрофированный инстинкт самосохранения. Этот инстинкт препятствовал какому-либо возмужанию – вот и умиление детством, когда ребенок ни за что не отвечает, а просто радуется жизни. Мы были стадом и ради сохранения жизни позволяли себя пасти. К несчастью, это не спасало: овец не только стригут, но и режут.

Жизнь моя начинается со встречи с Мандельштамом. Первый период – совместная жизнь. Второй период я называю загробной жизнью и именно так ее ощущаю, но не в вечности, а в невероятном мире могильного ужаса, в котором я провела пятнадцать лет (1938–1953), а в целом – двадцать лет непрерывного ожидания (1938–1958). Ничего, кроме ожидания, в эти годы не было, хотя происходили какие-то события, я изъездила невероятные пространства, что-то делала, куда-то спешила. Ни на одну минуту я не придавала ни малейшего значения тому, что происходило со мной. Все эти двадцать лет, особенно первые пятнадцать, остались в моем сознании как сплошной ком, сгусток мертвой материи, в котором время не текло, а только утекало. Меня мучительно преследовало ощущение разрыва между первым и вторым периодом – два не связанных между собой куска, один – полный смысла и событий, второй – лишенный всего, даже продолженности, длительности. Не только у меня, а у всех моих современников было острое чувство, что время взбесилось и безумно мчится вперед, не оставляя в памяти никаких следов. В памяти, конечно, остались и переезды, и занятия, и работа, и груды всяких пакостей, но это разрозненные картинки, а не знаки, потому что знак всегда что-то означает. Основные чувства – боль, раздвоенность жизни и необъяснимость происходящего. Мне рассказал некто, пробывший несколько лет в лагере при Хрущеве, что там бродил безумный еврей из Польши, запятанный на какой-то невероятный срок и потому не подлежавший реабилитации. Он говорил: «В России нет пространства – только километры...» Должно быть, я тоже была таким безумным евреем – без времени и пространства. И еще вот на что было похоже мое ощущение себя и жизни в те годы: я заболела в 34 году сыпным тифом, и меня ввели в сыпнотифозный барак. Моему горячечному воображению почудилось, что меня кладут в мужскую палату, потому что мне навстречу с подушек поднялись бритые головы... Вот такое же удивление преследовало меня все эти годы: куда я попала? Что со мной?.. Единственной реальностью в эти годы были встречи с Ахматовой, но только наедине, с глазу на глаз.

Третий период – с конца пятидесятих годов, когда я получила право называть свое имя, объяснять, кто я и о чем думаю. Почти сразу обе части моей жизни – первая и третья – воссоединились, зажав между собой второй период и так сплющив его, что он превратился в простую лепешку, не из муки, конечно, а из чего-то мерзкого. Жизнь снова стала целостной и единой. Еще большую целостность она приобрела, когда я написала в первой книге о том, что с нами было. В период ожидания, когда я не жила, а только пряталась и скрывалась, у меня были две задачи: сохранить стихи и оставить что-то вроде письма, чтобы изложить то, что с нами произошло. Первая книга это и есть такое письмо, которое мне удалось написать довольно подробно. На такое счастье я даже надеяться не могла: ведь где я оставляла бы листки рукописи, когда без меня заходили в мою комнату и перерывали все мое барахло?.. Быть может, мне удастся сохранить и вторую, ту, которую я сейчас пишу, но об этом я не загадываю – такие мелочи меня не смущают. Главное сделано.

Что мне делать с разрозненными картинками? То же, что с взбесившимся и умчавшимся временем. Лишенное полновесного содержания и смысла, оно, очевидно, всегда бесится. Время кануло в прорву, не оставив никаких следов и ничем меня не изменив. Картинки побледнели и выцвели. Все они случайны и не объединены внутренним смыслом. Их наличие только свидетельствует о бесплодно прожитых годах. В эти годы я успела накопить силу и ярость, другие – огромное большинство – просто увяли, не успев ничего сказать. Им было труднее, чем мне, потому что я знала, чего жду, они же только метались, спасая детей, облегчая жизнь близким, падая от усталости. Я тоже падала от усталости, но упасть не смела, поэтому сохранила силу. У меня есть свойство, присущее русским, – стойкость. Оно развилось у меня в период ожидания. У моих соотечественников оно переходит в слабость, – они жили одной только стойкостью полстолетия. Стойкость оправданна, когда она чему-то служит. Бесцельная и чересчур длительная стойкость переходит в сон.

Я говорила, что в жизни нужно искать смысл, а не ставить цели, а себя оправдываю тем, что поставила себе цель и ради нее жила. Противоречие здесь только внешнее. Моя цель была в оправдании жизни Мандельштама путем сохранения того, что было ее смыслом. Меня тоже лишили жизни, потому что вынули из нее то, что составляло смысл. Мне насильственно навязали цель, искалечив жизнь. Я не жила, а только ждала воссоединения двух разорванных частей жизни. В период ожидания цель заменяет смысл. От этого мы не становимся богаче, но хотя бы сохраняем тлеющую душу... На большее я способна не была, да ни на что и не претендовала: на цель ушло все. Мне повезло – могло бы быть гораздо хуже: я тоже едва не попала в яму с биркой на ноге, а бумажки бы истлели или были бы брошены в огонь. Слава Богу, этого не случилось. В этом я вижу Его руку и тихо шепчу слова любви и благодарности.

Медовый месяц и кухарки

Мои современники твердо верили, что поэт пробавляется стихами, пока не созреет до прозы. Начав писать прозу, он сразу переходит в более высокий ранг. Примеры они приводили роскошные: проза Пушкина и Гоголь с его ранним поэтическим опытом. Об этом постоянно говорили, а может, даже писали Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский. Все они, вероятно, начали со стихов, и при этом слабых, и на своем опыте и на суждении по аналогии пришли к выводу, что стихи только преддверие прозы. Всем им, как и Пастернаку, втайне хотелось написать роман: слава и деньги, а не то еще в классики угодишь. Насчет классиков я обучена Мандельштамом хмыкать на сие обозначение, а вот насчет денег я им сочувствую. Я за то, чтобы у людей были деньги даже за обыкновенную работу, но зачем придумывать теории о соотношении стихов и прозы?... Мандельштам, слушая ученые соображения наших лучших литературоведов, только вздыхал и говорил: «Они просто не любят стихов...» Это был период, когда слишком часто приходилось говорить про нелюбовь к стихам. Не любили стихи, не любили станковую живопись, зато любили все новое, все броское и особенно оригинальные научные теории. Даже люди, которые втайне любили стихи, как Тынянов, начинали заикаться и увиливать, говоря о них (пример – статья «Промежуток»). Я заметила, что наука тоже задыхается, когда ее носители имеют в своем распоряжении только рационалистические ошметки (рационализм так создан, что производит только ошметки). Те, которых я упомянула, включая Гуковского и Томашевского, были лучшими из лучших, цветом литературоведения, который начал осыпаться, не успев расцвести. Спешу оговориться, что в этом не их вина, а времени и режима. Они прониклись пеной времени, его рационалистическим и псевдонаучным бредом и страстью к обязательному новаторству, и не успели они созреть, как их прикрыли: только и вспоминать умильные картинки детства – своего или чужого.

По моему глубокому убеждению, проза и стихи черпаются из разных источников и выполняют различные функции. Стихи идут из более глубинных недр и кристаллизуются, как сказал бы Мандельштам, под большим давлением, но оба вида отнимают все силы художника и, как я видела у Мандельштама, несовместимы во времени. Когда Мандельштам писал прозу, стихи могли появляться только на уровне «бродячих строчек», то есть чистых заготовок. Целое, которое существует до написания стихотворения, не может возникнуть, когда человек как бы полностью «нагружен» целостной, хотя бы еще не написанной прозой. Мандельштам писал «Шум времени» с перерывом больше чем в полтора года, в течение которых появлялись стихи, но главки, возникшие после перерыва («Барственная шуба» и главки о Феодосии), сделаны из другого материала. Они действительно прибавлены к книжке о детстве, к счастью, лишенной умильного любования собой, как у всех, кто вспоминает детство.

«Египетская марка», по-моему, питается смешанными источниками. Она писалась в период глубокой поэтической немоты, и в нее ворвался материал из поэтических заготовок, перемежаясь с чистыми прозаическими источниками. Я, вероятно, именно поэтому не люблю «Египетскую марку». Она кажется мне гибридной, кроме того, фабульная сетка не что иное, как проявление внутренней слабости, уступка всеобщему восторгу перед «большой литературой» – повестью или романом с их постылой фабулой и сюжетом. И наконец, главная причина моего недоверия к «Египетской марке»: импульс или «порыв» к написанию этой вещи – попытка перенесения в десятиные годы той сумятицы, которая охватила Мандельштама в двадцатые, а это признак растерянности и потери критериев. (Это вовсе не значит, что я апологет десятиных годов. Мне смешно, когда их называют «серебряным веком», но в них была тревога и предчувствие конца. Все последующие преступления коренятся не в десятиных и не в двадцатых годах – их корни гораздо глубже.)

Мрачный Мандельштам начала двадцатых годов чувствует себя «усыхающим довеском прежде вынутых хлебов», но ни на один миг не забывает о своей несовместимости с текущей действительностью и о том, что «хлеба» были и существовали во всей своей полновесности. В стихах того периода его не покидает ощущение трагизма эпохи, в статьях он говорит об утрате светоча, завещанного от предков, призывает сохранить хоть каплю разума («Элементарные формулы, общие понятия восемнадцатого столетия могут снова пригодиться... Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи... отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум энциклопедистов – священный огонь Прометея»), он в ужасе от «социальной архитектуры», предназначенной для того, чтобы сокрушить и раздавить личность. В начале двадцатых годов у него еще были иллюзии, что можно смягчить нравы или, как мы шутили, «дать большевикам добрый совет», чтобы прекратить озверение. Во второй половине десятилетия жизнь как будто стабилизировалась: на прилавках появились продукты и тряпье, люди начали отъедаться и с лиц исчезли синеватые тени, пошли поезда и трамваи. Всем мучительно захотелось покоя, и в результате всех поразила слепота, неизлечимая и всегда сопровождающаяся нравственным склерозом. Расплатились за потребность в самоуспокоении все, больше всех не жулики, а честные и глубокие люди, как Зощенко. Он до конца жизни верил в возможность «дать совет» и, остро чувствуя ужас происходящего, когда единственный выход – завывать зверем, все пробовал остановить, предупредить, напомнить: милиционер в белой перчатке, почтительно поднявший руку к козырьку, сводит с ума мужика, загнанного, замученного, заплеванного; женщина тащит тяжелый чемодан, граждане возмущаются мужчиной, который идет, поплеывая, належке, потому что принимают старуху за домработницу; узнав, что это мамаша, они извиняются: суверенитет семьи – мамашу можно превратить во вьючное животное. Бедный Зощенко, чистый духом и сердцем, которого принимали за хохмача и ржали, слушая про мамашу!.. Расплатились все – «Египетская марка» еще небольшая расплата, но все же она принадлежит к этой категории, хоть в ней есть два-три прекрасных места (самосуд, например, и смерть Бозио – петля в этой стране не рекомендуется). Характерно, что проза всегда расчищала дорогу стихам, а «Египетская марка» этой функции не выполнила. Она не дала высокого равновесия духовных сил, которое нужно для возникновения стихов.

В самом начале тридцатых годов Мандельштам сказал – на улице, где мы вдвоем ждали трамвая: «Нам кажется, что все благополучно, только потому, что ходят трамваи». Он снова почувствовал ужас эпохи и глубокую внутреннюю тревогу и сорвал отнюдь не блистательный «покров, накинутый над бездной». Он освободился из плена общего мнения и стал свободным. Это привело его к гибели, но разве можно было жить на даче в Переделкине в наши преступные дни?

Статейная проза всегда писалась по заказу – для журнала или газеты – в несколько часов. Исключение, разумеется, «Разговор о Данте». Текущие статьи всегда строятся на уже раньше отработанной мысли. Очерковая проза началась в Харькове в 22 году. Очерк «Шуба» был напечатан в местной газете, а затем расширен и продан сестре Раковского. Он пропал, как и номер газеты, где был напечатан первоначальный вариант. Хорошо, что сохранилась статья «О природе слова». У нее было много шансов пропасть, гораздо больше, чем сохраниться. Пусть это знают наши дальние друзья: у каждого из нас и у каждой вещи, у каждой статьи, бумажки, рукописи – было в тысячу раз больше шансов пропасть, чем сохраниться. Все, что сохранилось, – результат чуда. Я остро чувствую, что в иных условиях сохраниться тяжелее, чем погибнуть, но мы, как известно, не гедонисты и отнюдь не созданы ни для счастья, ни для полета, ни для удовольствия...

От второй попытки писать прозу тоже не осталось никаких следов. Эта попытка связана с милым и очень мирным приключением. Однажды, шатаясь по Смоленскому рынку – мы всегда любили базары, центр живой и подлинной городской жизни, – мы разговорились с

восточными людьми, торговавшими коврами. У Мандельштама была отличная способность болтать с мужиками и бабами, со всеми, кроме начальников, писателей и челяди. Чернявые повели нас к себе в лачугу за Киевским вокзалом. Она стояла среди целого моря развалюх, и мы увидели в облупленной и грязной горнице нечто чудесное и невообразимое: огромный фигурный ковер с изображением охоты. Центральная фигура – мальчик с луком, а вокруг всадники, крошечные, и всякое зверье – собаки, лисицы, птицы... Это было сокровище невообразимой ценности, но ввиду переоценки всех ценностей такие вещи стоили тогда сравнительные гроши. Чернявцы соблазняли нас рассрочкой, и мы тянулись к коврику, хотя не знали, не украден ли он из какого-нибудь музея или дворца. Мы ушли, дав свой адрес, и восточные люди повадились ходить к нам на Тверской бульвар... Они принесли однажды ковер, и он наполнил нашу жалкую комнату восхитительным сиянием.

Мандельштам влюбился в ковер, как в женщину (я, рационалистическая дура, не приревновала даже к коврику – скольких наслаждений я себя лишила: боли, тоски, отчаянья, бессонной ночи, слез и примирений). Я почувствовала, что он видит в ковре пленницу, которую нужно вырвать из рук похитителей, но он меня улещивал, говоря, что при таком свидетеле, как ковровый царевич, нам еще лучше будет вместе. Я понимала, что мне предстоит роль служанки при царевиче, но он был мальчиком, а я еще такого не видала. Первым опомнился Мандельштам – он попросил скатать ковер, поднял его, фыркнул, отряхнулся, как пес, перевел дыхание и сказал: «Не для нас...» Тоненький ковер был так велик, что мы бы оба задохнулись, вытряхивая и выбивая его во дворе. Ковер прожил у нас несколько дней. Мандельштам убеждал меня, что в нашем быту нет места для огромного музейного ковра, и я, поплакав, согласилась, чтобы чернявые унесли его в свою трущобу. Ковер исчез из нашей жизни, а Мандельштам, тоскуя, начал что-то царапать на бумаге. Это был рассказ о ковре в московской трущобе. Он быстро оборвался, листочки канули в сундук и пропали в тот час, когда им было положено. Чуть-чуть слышен отзвук этих переживаний в нескольких строчках о персидской миниатюре в «Путешествии в Армению». Только испуганный косящий глаз был не у царевича, а у меня, молодой.

Третий подступ к прозе – очерки в «Огоньке» – «Сухаревка» и «Холодное лето». В «Сухаревке» по моральным соображениям вычеркнули два слова: «только на сухой срединной земле, к которой привыкли, которую топчут, как мать, которую ни с чем не сравнить, возможен этот свирепый, расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю». «Советский человек, – сказали ему, – свою мать уважает. Вспомните „Мать”» Горького...» Мандельштам вообще не матюгался, но тут сказал нечто неповторимое. Объяснение это происходило после того, как очерк был напечатан... А лето действительно было холодное, и в преддверье холодной зимы надо было погреться. Ужас Мандельштама перед холодом, его жадность к теплу и солнцу – следствие голодных лет и систематического недоедания. В сравнительно сытые годы он любил мороз и не страдал от него, а к концу и вовсе примирился с ним, чтобы получить перед смертью полную порцию холода и голода, которой хватило бы на целую человеческую жизнь. И я знаю, как холодно, когда голодаешь, но ведь мой голод не лагерный, а просто вольный советский. Лагерный голод – непредставим. Сообщите, пожалуйста, об этом сукиным детям, которые затыкают уши и закрывают глаза.

Неожиданно мы узнали, что есть новые способы ездить на юг: санатории Цекубу. Мы все же принадлежали к привилегированному сословию, хоть и второй категории. Путевки нам дали в Гаспру – бесплатно, а деньги с очерков пошли на билеты, которые купило то же Цекубу. Курортников отправляли оптом, и мы очутились в купе жесткого вагона с любезнейшим Вышинским, его женой и дочерью – это еще шестиместные отделения с боковыми местами. Вышинский ходил в эсеровской косоворотке и с таким видом ездил в жестких вагонах, будто ничего иного ему не предстояло. Я бы внесла предложение, чтобы будущим светилам с момента восхода – чуть прорежется первый луч – предоставляли отдельные салоны-

вагоны: нечего им тереться об обыкновенных людей. Вышинский был тогда начальником Главнауки, и я не помню, успел ли он провести свое первое дело: процесс эсеров, в котором уже обнаружился разработанный им процессуальный метод. Мандельштам читал все отчеты процессов. Как бы они ни были причесаны, в них всегда оставались огрехи (для нас, умеющих читать между строчками), по которым можно восстановить суть дела. Прошло около пятидесяти лет, но я помню момент, который он мне показал: в ответе подсудимого прокурору на вопрос о подготовке ярославского восстания: вы об этом знаете больше, чем я... Восстание было первым лучом в карьере Вышинского – он готовил восстание, а в нужный момент предал. Процесс был поворотным пунктом, после которого жена и дочь уже не лежали на жестких полках. Профессора в Гаспре относились к Вышинскому почтительно, потому что он был начальством. Российская привычка. Это он потом проехался по всему великому сибирскому пути и не увидел ни одной лагерной вышки. Чистая правда: из вагонного окна их не увидеть...

Чтобы забыть о нем, приведу сказку, рассказанную мне директором Псковского педагогического института. Старший брат директора был арестован еще первокурсником-комсомольцем в каком-то году. Он умудрился бежать и в Москве пришел с младшим рассказчиком на прием к Вышинскому. Его приняли немедленно. Вышинский был исключительно внимателен и делал пометки, слушая рассказ о побоях и вынужденных показаниях. Братья поверили в лучшую жизнь, но тут раскрылась дверь, вошли люди в форме и увели правдивого комсомольца. Он исчез с лица земли, а младший, еще школьник, да к тому же носящий другую фамилию, долго скрывался в нетях, пока не убедился, что его не ищут. Директор знал, что мне можно рассказать историю двух братьев, но тут дверь кабинета отворилась и в кабинет вошел секретарь парторганизации, дипломированный и освобожденный. Я заметила, что кандидаты некоторых наук чем-то похожи на незабвенного Смердякова – любят крепкий кофе, культуру и играют носочком хорошо начищенной ботинки. Только они не вешаются, потому что даже у Смердякова было нечто вроде христианского сознания, чего они полностью лишены. Я увидела, что директор так смертельно испугался, словно рассказ застрял у него в глотке. Пришлось встать, проститься и уйти. Это была моя последняя работа. Директор в начале разговора уговаривал меня остаться на кафедре общего языкознания и читать там курс по новой программе. Я ответила ему, что мне надоело врать студентам. С этого и начался разговор. Для самооправдания бедный директор умудрился чего-то мне недоплатить – чуть-чуть, сотни две. Сейчас если он жив, то уже отставлен и на пенсии. Мой рассказ ему не повредит. А у Вышинского в кабинете, наверное, был звоночек, которым он вызвал тех, кто увел на смерть доверчивого правдолюбца.

Перед домом в Гаспре стояла лежанка, а на ней – старик. Про него говорили, что он цекист-меньшевик, любимец Ленина, который его спас. Старик ни с кем не разговаривал и был мрачен как ночь. Нас посадили за стол с добрейшим химиком Каблуковым. Он носил в кармане жестянку с монпансье и, встретив ребенка, угощал его со старомодной приветливостью: не угодно ли?... Я была еще девчонкой, и мне перепало немало каблуковских леденцов. Он иногда заходил потом к нам, вернее – ко мне, и я таяла от его удивительной, нежнейшей доброты. Почему люди, писавшие о Каблукове, рассказывали только анекдоты о перескакивающих в его речи буквах, а не заметили сияния благословенной доброты? Он ходил по Москве с заплечным мешком для таскания пайков, все терял, все забывал и всем улыбался.

За нашим же столом посадили Чулкова, бывшего мистического анархиста. Однажды он заметил, что я надписываю адрес на конверте по новой орфографии – без твердых знаков. Он счел это предательством русской культуры, устроил легкий скандал и тотчас отсел за другой стол. Есть фотография – Мандельштам, Ахматова, Чулков и Петровых. Снята она у нас в квартире на Фурмановом переулке – Ахматова пожелала, чтобы первая фотография была литературной, а вторая семейной – там есть и я, и дед, и Александр Эмильевич. Чулков

ходил не к нам, а к ней. Он прожил мирную жизнь и удивительно ладил с начальством, а Ахматову развлекал рассказами про Любовь Дмитриевну Блок. Все, что он рассказывал, легкое видоизменение ее дневника.

Среди отдыхающих в Гаспре все время возникали споры, правильно ли выдают путевки. Многие возмущались, что путевки выдают посторонним, например нам. Я даже кому-то объясняла, что Мандельштам тоже член Цекубу и получает паек. Это работали старинные местнические инстинкты, и они вспыхивали с особой яростью, когда речь шла о непочтенных людях вроде Мандельштама. Еще омерзительны были скандалы при распределении комнат. Каждый кричал о своем ученом праве на большую и лучшую. Не они ли подготавливали знаменитое постановление о борьбе с уравниловкой? Мы плохо переносили местнический уклад и сняли комнату в татарском доме, чтобы не вызывать зависти и быть подальше от толчеи.

Толчея, впрочем, тяготила только Мандельштама, а не меня. Мне она даже нравилась. В Гаспре жили люди вдвое, а чаще втрое старше меня. Моложе были только двое отпрысков из семейств победителей. «Как быстро они становятся великими князьями или наследниками миллионеров», – сказал про них Мандельштам. Как подобает князьям, они держались поодаль и вполне скромно. Из настоящих князей Мандельштам видел только мальчика Палея – он писал стихи и ходил к Гумилеву. Не он ли погиб, брошенный в колодец? Говорят, что это был прелестный и трогательный юноша. Мы читали с Ахматовой мемуары его сестры и удивлялись, что в тех семьях разорение шло тем же путем, что в наших. Про сестру говорили не очень хорошо, но про кого у нас говорили хорошо?

Я лгнула к старикам, играла в шахматы с Чаплыгиным и Гольденвейзером и с ним же в теннис, и он сердился, что я плохо подаю и часто мажу. На террасе главного дома, куда выводили в кресле тяжелобольного Кустодиева, я вдруг поняла, что любовь не только радость и развлечение, которому мешает скудость, вернее, нищета нашей жизни, а нечто несравненно большее. С Кустодиевым была жена, моложавая, измученная женщина. Она ухаживала за ним спокойно и ласково, не делая при этом вида, что приносит жертву, и совсем не сердилась на его раздражительность. Я с удивлением рассказала про свое открытие Мандельштаму, а он только ахнул, до чего я еще дикая... Кустодиев рисовал меня – это были милые акварельки девчонки в глупой пестрой кофте. Он удивлялся, что я не прошу их у него, но я была авангардистка, футуристка, бубнововалетчица и презирала все прочее...

Мандельштам ходил купаться и отводил меня на террасу, чтобы я там ждала его. Гулять он обычно ходил один, чтобы я не уставала. Я была самой худой во всей толпе, таких худых вообще не бывает. В домах отдыха и в санаториях всех взвешивают, и я привыкла, что всегда удивляются, записывая мой вес. Мандельштам откармливал меня молоком и виноградом и требовал, чтобы я лежала в мертвый час, как велели врачи. Если он оставлял меня одну, я норовила удрать, и мне здорово за это попадало.

Мне запомнилась такая сцена: я сижу перед домом со своими «дяденьками» («твоя офицерня», – говорил Мандельштам) – моряком и художником. Моряк был бывший, он уже пребывал в профессорах – не знаю, какой науки, – но любил вспоминать прошлое. Он добыл кофе и приготовил его по малайскому или другому способу: залил водой в глиняном кувшине и продержал трое суток зарытым в землю. Кофе ушло страшно много, а результат получился средний, но мне понравилось, что он «фигуряет» передо мной. Я спрашивала его и художника, почему они так балуют меня, а художник за обоих отвечал: «Потому что вы у нас самая младшая...» О нем я помню, что у него была итальянская фамилия и он первый мне объяснил, что анархисты вовсе не сторонники беспорядка и безобразий, а серьезная партия с глубокой антицентралистской программой.

В тот же день, который мне запомнился, я сидела с «дяденьками», а из дому вышел Мандельштам и сердито меня окликнул. «Он обращается с вами, как с собачонкой», – воз-

мутился художник. Мне было приятно, что он за меня обиделся, но я не успела объяснить, что к такому обращению привыкла и не собираюсь превращаться в даму. Я вскочила и побежала на зов вслед за Мандельштамом, а он, злодей, даже не подумал остановиться, чтобы подождать меня. Почему-то я вижу, как бегу за ним по большой солнечной площадке перед домом, а затем рядом – по крутой улочке к нашему татарскому дому. Туфли у меня были на высоких каблуках, а подошвы стерлись, и я подшила их куском шелка из порвавшейся юбки. Мандельштам ходил быстро и большими шагами, я только бегала и подпрыгивала на ходу. В городе он этого не терпел, но на воле позволял...

На террасе татарского дома, где мы спали на положенном на пол тюфяке, он долго заедал меня, что ему пришлось целый час искать меня, что я своей глупостью срываю ему работу, что со мной нет сладу и что я никогда не поумнею... Я защищалась, как бешеная кошка, говорила: все ты врешь, никакого часа не потерял, а только пять минут, и нельзя обращаться со мной, как с собачонкой, – все это видят и смеются... И я уже взрослая, и почему он так избаловался, что не желает без меня работать?..

На террасе он диктовал мне «Шум времени», точнее, то, что стало потом «Шумом времени». Он диктовал кусками, главку приблизительно в раз. Перед сеансом диктовки он часто уходил один погулять – на час, а то и на два. Возвращался напряженный, злой, требовал, чтобы я скорее чинила карандаши и записывала. Первые фразы он диктовал так быстро, словно помнил их наизусть, и я еле успевала их записывать. Потом темп замедлялся, но я часто путалась в длинных периодах. Он никак не мог понять, как это я не запоминаю с одного раза целого предложения, а я тогда же поймала его на том, что он иногда забывает произнести слово, а то и несколько слов, но уверен, что я их услышала и без звука. «Ты что, не слышишь, что без этого не держится?» – упрекал он меня. Я отругивалась: «Ты думаешь, что я у тебя в голове сижу и твои мысли читаю... Дурак, дурак, дурак...» На дурака он сердился, а мне подносил «идиотку». Я визжала, а он оправдывался, что это прекрасное древнегреческое слово. Дурак, дурак, дурак – да еще древнегреческий...

Когда накапливалась кучка бумаг, он просил, чтобы я прочла их ему вслух: «Только без выражения...» Он хотел, чтобы я читала, как десятилетняя школьница, пока учительница не научила ее «со слезой» поднимать и опускать голос. Каждую фразу он проверял на слух – в сущности, ему нужна была не жена-секретарша, а диктофон, но с диктофона он не мог бы требовать еще вдобавок понимания, как с меня. Если что-нибудь из записанного ему не нравилось, он недоумевал, как я могла безропотно записать такую чушь, но если я бунтовала и не хотела что-нибудь записать, он говорил: «Цыц! Не вмешивайся... Ничего не понимаешь, так молчи».

Впоследствии, когда он диктовал «Разговор о Данте», я уперлась и не хотела записывать кусок про то, как Дант ластится к авторитету. Мне показалось, что Мандельштам умиляется авторитету вождей и согласен, чтобы они его пасли. Других авторитетов у нас не было, и, насытившись этими, я знать не хотела никаких. «Мало тебе авторитетов! Хочешь еще?» – твердила я, сидя перед белым (по цвету он был серым) листом бумаги и положив руки на колени.

Мандельштам бесился, что я стала чересчур умна и лезу не в свое дело. Я советовала ему переменить жену: «Найди еще такую дуру, – или возьми, как все приличные люди, стенографистку: она запишет что угодно и не моргнет...»

Сцена была бурная, и Мандельштаму стоило немало трудов вдолбить в меня, что авторитеты бывают подлинные и мнимые. Я успокоилась, когда услышала про опасность, таящуюся в ложных авторитетах, и в уме отождествила их с кумирами. Но до сих пор не знаю, как быть с авторитетами. Сам Мандельштам приучил меня чураться авторитарности, и я ненавижу железные нотки в чужих голосах. Мне милее понятный ход доказательства или страстный призыв убежденности.

Это был единственный случай неистового вмешательства в его работу. Обычно я только посмеивалась и спрашивала: «А ты часом не врешь?» или «Куда это тебя понесло?» (а жаль: была бы я поумнее, я бы не дала записать акмеистической дребедени про биологические методы в поэзии). Услыхав мои сомнения, Мандельштам обычно поминал валаамову ослицу – я сама подсказала ему эту аналогию, – чем не идиотка? А иногда Елену Ивановну, баптистку, служившую у нас в Детском Селе кухаркой. Она была не кухаркой, а знаменитой поварихой, отдыхавшей зиму на наших харчах. Целый день она сидела в кресле и читала Библию. Обед из трех блюд с пирожками приготавливался за полчаса. В доме был полный порядок. Елена Ивановна подавала счет с базара и брала себе десять процентов «законных», и мы никогда так дешево не жили. Раз в неделю нам полагалось убираться из дому, потому что Елена Ивановна принимала гостей: пожилого плотника и две-три семейные пары, только баптистов.

Неприятности произошли именно из-за плотника. Он надоумил Елену Ивановну, что служить у нас опасно, потому что Мандельштам пишет стихи и говорят, что он и есть анти-религиозник Демьян Бедный. Она изложила нам эту версию за завтраком, чуть не плача, что придется расстаться. Мандельштам попросил ничего сгоряча не делать, собрал все свои книги и дал ей – судите сами. Она отложила Библию, прочла все от строчки до строчки, посоветовалась со своими и сказала, что все хорошо: слух про Демьяна Бедного оказался ложным, и она остается. Из книг она отдала предпочтение «Тристиям». Мандельштам был доволен.

Целый год мы жили как у Христа за пазухой. Елена Ивановна изредка напоминала нам, что не надо бездельничать, а то не будет денег. Только один-единственный раз у нас вышел конфликт: она не пустила Костю Вагинова, потому что «хозяин спит». Мы встретили Костю в парке, когда вышли погулять, и узнали, как он был изгнан с порога. Мандельштам пробовал втолковать Елене Ивановне, что он не хозяин и его можно и потревожить, если кто придет. Она не соглашалась: у графа Кочубея, где она раньше служила, барина никто не беспокоил. Еще она обижалась, если к обеду без предупреждения появлялся гость: она «теряла марку», если не подавала что-нибудь неожиданное и невообразимое. Люди искусства – она и Мандельштам – понимали друг друга, и он был польщен, когда армянский поэт (Акопьян? Мы прозвали его «красный старец»), приехавший «переводиться», принял Елену Ивановну за «супругу» и целый час любезничал с ней, пока мы не вернулись с прогулки. Тут он растерялся и со мной любезности не проявил... Елена Ивановна ушла от нас в частный пансион, чтобы заработать побольше денег для общины. Одну-единственную зиму мы прожили под доброй опекой, и Мандельштам, сравнивая мои суждения с ее рецензией на его стихи, говорил, что она понимала куда больше, потому что знала, на чем стоит, а я «поразительно лишена представлений» и «сплошные белые пятна на карте»... Может, он и был прав. Последний этап работы над прозой: груды листов раскладываются на полу или на столе, если он большой. Вечное недоразумение, что каждый день я сызнова начинала нумерацию, листочки перемешивались, и нужно было подбирать, за которой пятой страницей следует данная шестая, а это при том, что успело накопиться немало и пятых и шестых... Мое счастье, что Мандельштам был малолистным автором – «ни листажа, ни строкажа»... Будь он как все, я бы никогда не разобралась ни в пятых, ни в шестых... А его больше всего интересовало, до какой цифры я умею считать, но этого он так и не узнал. Порядок глав Мандельштам тоже проверял по слуху и иногда ножницами вырезывал куски, которые потом выкидывал или переставлял. Его искренно огорчало, что приходится возиться с такой ерундой и я не могу сделать за него такую простую работу. Его тошнило от кучи исписанной бумаги и тянуло из комнаты на волю: кому это нужно? Идем гулять... Мы, разумеется, бросали работу, положив на каждую кучку бумаг по большому камню, чтобы они не разлетелись. Я

не слишком была привержена работе и несравненно больше бы мешала ему, если бы ему можно было помешать...

Усталая, заплаканная, измученная, я засыпала на его плече, а ночью, проснувшись, видела, что он стоит у стола, что-то чиркает и записывает. Заметив, что я проснулась, он показывал новый кусочек, утешал, смешил, и мы снова засыпали. Я поняла, как он относится ко мне, еще в первый приезд в Грузию. Мы попали в Батум и первую ночь провели на террасе в квартире инженера, фамилию которого я забыла, члена первого или второго «Цеха». Его самого не было в городе, а жена, пустившая нас на террасу, предупредила, что там полно москитов. Всю ночь, просыпаясь, я видела, как Мандельштам сидит на стуле, рядом с кроватью, и машет листом бумаги, отгоняя от меня москитов⁴. Боже, как хорошо нам было вместе – почему нам не дали дожить нашу жизнь...

Под конец срока в Гаспре – мы прожили там два месяца – приехал Абрам Эфрос и деловито сообщил: «Мы вам вынесли выговор» (Эфрос был активным членом Союза писателей). Мандельштам спросил, какой выговор и как могли вынести какой бы то ни было выговор, не вызвав его и не запросив объяснений: «Вы ведь все же общественная организация...» Эфрос заявил, что выговор не имеет никакого значения, а вынесен он по жалобе Свирского, потому что Мандельштам «набросился на его жену», требуя, чтобы она не шумела на кухне. Свирский, как потом выяснилось, никакой жалобы не подавал. Все это было выдумкой Эфроса, знаменитого интригана союзписательского типа. (Впоследствии он был организатором фельетона Заславского, который был принесен в ночную редакцию во время дежурства Эфроса.)

Наша комната на Тверском бульваре была рядом с кухней, где постоянно шумели две-три женщины под водительством «генеральши», единственным остатком прежних жильцов дома. Она служила кухаркой у инвалида военного, который под конец женился на ней. За прежнюю кухарочью деятельность ее признали трудовым элементом и не выселили. Добродушная «генеральша» пекла для всех пироги и сдобу, в частности для передач в тюрьму, когда сидел Евгений Эмильевич. Она говорила: «Против меня никто мясо не стушит» – и старалась научить меня жарить жирное украинское жаркое и печь кружевные пироги с капустой и яйцами: «Перенимайте, а то никогда не научитесь...» Свирские, добродушные, как «генеральша», наслаждались едой после голодовки. Мандельштам часто выходил на кухню и просил не шуметь. Помогало не больше чем на двадцать минут.

Таков был первый конфликт Мандельштама с писательскими организациями – еще на кухонном уровне. Он сказал Эфросу, что отказывается от комнаты в Союзе писателей, который позволяет себе выносить заочные выговоры писателям, не запросив у них объяснений: для вынесения выговора необходимо заслушать стороны. Эфрос считал это мелкой формальностью и не советовал лишаться комнаты – жилищный кризис!.. Заявление с отказом было послано из Гаспры, и мы вернулись в Москву на пустое место.

Мы были рады, что избавились от писательской трущобы, но от власти писательских организаций не ускользнул еще никто. Мандельштам был только первым опытом неоперившегося союза. Писательские организации постепенно набирали силу и вскоре стали самым могучим творческим союзом в мире. Прожить без них нельзя, а жить с ними невозможно. Они держат в руках все и всех и непосредственно сносятся с мощными инстанциями. Не думайте, что они превратились в свою противоположность по приказу сверху. В их внутренней структуре изначально было заложено то, что сейчас бросается в глаза, и заложено оно было не в советской, а в русской литературе.

Меня могут обвинить, что я посягаю на священные яблоки: говоря о русской литературе, обычно имеют в виду ряд священных имен, честь и гордость страны. Но текущая

⁴ Далее следовало: «Мы дураки, нам хорошо вместе».

литература состоит не из них. В писательских организациях состояли бы и Пушкин, и Греч с Булгариным. Кто из них оказался бы «руководящим кадром» и ратовал за исключение Зощенко, Ахматовой, Солженицына, Пастернака или подписывал согласие на уничтожение Клюева, Клычкова, Мандельштама и многих еще? Греч и Булгарин всегда были деятелями и ныне состоят в президиуме правления союза. Их поддерживают те, кто приходил «руководить меня», то есть Достоевского, прививал нигилизм, писаревщину, сновидческие бредни и представление о высшей духовной деятельности по знаменитой диссертации, где говорится о живой женщине и о ее изображении на картине. Вспомним формулу одного философа, которому еще не исполнилось ста лет: выпьем за науку, но не за ту, которая, а за ту, которая... Это было произнесено в последний год жизни Мандельштама, и он любил повторять дивную формулу, приучая себя к мысли о неизбежной гибели.

Русская литература – не та, которая, а та, которая, – всегда все разлагала. Так действует, наверное, любая литература, но русская оказалась самой могущественной. Это рассуждение не случайно возникло по поводу кухонного инцидента – во всем, что случается в литературе, пахнет зловещей кухней. Для Мандельштама литература и поэзия – несовместимые понятия. Поэт – лицо частное и «работает для себя», а к литературе не имеет ни малейшего отношения. В Союзе писателей он случайный и пришлый элемент и подлежит исключению, как Пастернак и Солженицын. Нечего поднимать бузу, когда их исключают. И я не верю милым мальчикам, которые жуют овес из писательских кормушек.

Промежуток

Зиму 23/24 года мы провели в наемной комнате на Якиманке. Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными, но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха. Каждую комнату занимала семья во главе с измученной, но железной старухой, которая скребла, чистила и мыла, стараясь поддержать деревенскую чистоту в запущенном, осыпающемся, тухлявом доме. Мы жили в большой квадратной комнате, бывшей гостиной, с холодной кафельной печкой и остывающей к утру временкой. Дрова продавались на набережной, пайки исчерпали себя, мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что Якиманка тогда была концом света, а на трамваях висели гроздьями – не вишни, а люди.

Новый, двадцать четвертый год мы встретили в Киеве у моих родителей, и там Мандельштам написал, что никогда не был ничьим современником. Он мог бы прибавить, что его тоже никто современником не считает, но тогда он еще не понял, что время принадлежит ему, а не им. В тот год родилась идеология – одержав победу на всех фронтах, власти перешли на мирное строительство. Только в центральных областях еще не заглохли крестьянские восстания, и каждый вагон, когда мы ехали в Киев, провожали двое пулеметчиков. Зато поезд состоял не из теплушек, милейших дач на колесах, где беснуются демобилизованные или командировочные, а из обыкновенных вагонов – верный признак того, что началась мирная жизнь. А мир у нас всегда сопровождается чудовищными вспышками самоистребления. Передайте от меня итальянскому писателю, который, надеюсь, меня читать не станет, что, когда вырывают «сто цветов», земля насыщается кровью и больше на ней никогда ничего не растет. Сколько нужно съесть пекинских уток, чтобы умилиться особым формам «борьбы с бюрократизмом». Остерегайтесь литературы. Самая невинная форма литературы – полицейские романы.

В ту зиму появилось выражение «литературный фронт» и кто-то уже стоял «на посту». Критики пропечатали, что Мандельштам бросил поэзию, а сменовеховская газетка «Накануне» подхватила этот изящный слух. Можно бросить женщину, жену или любовницу, а в мое время женщины бросали мужей и любовников. А нельзя ли разобраться, как это «бросают поэзию»? Какая техника? Такое понятно только специалистам по смене вех – вырвали одни и понатыкали другие, чтобы обозы двинулись новым путем.

Бухарин открыл Мандельштаму, что не может печатать его стихи – только переводы. Мы впервые узнали вкус не добровольной, а настоящей изоляции: ни один современник не заглянул к нам на Якиманку. Все были заняты настоящими делами, к которым Мандельштам не имел никакого отношения: шла борьба за то, кому управлять литературой. Одни дрались за власть, другие пристраивались к дерущимся в качестве подхалимов. «Леф» еще верил в победу, усачи и попутчики занимали стойкие позиции, а мальчишка Авербах, будущий победитель, сидел пока в маленькой редакции на Никитском бульваре на подступах к Дому Герцена.

Мы познакомились с Авербахом, когда жили еще на Тверском бульваре, а произошло знакомство ради папиросного мальчишки, который носил нам на дом папиросы и поразил Мандельштама своим законченным урбанизмом. Мальчишка презирал Москву с ее убогим автомобильным движением и рассказывал, что в Америке машины идут одна за другой, впритык – конца-краю не видно – и своим количеством замедляют движение. Мандельштам решил пристроить урбаниста комсомольскому Авербаху. Мальчишку Авербах взял рассылным, а Мандельштама попросил перевести – услуга за услугу – стишок какого-то революционного венгра. Получив перевод, Авербах пробежал его глазами, встал, пожал руку переводчику и сказал: «Поздравляю, Мандельштам, вы сделали большое дело». Мандельштам

ответил резко – несколько теплых слов о различных формах уничтожения литературы и поэзии, и его слова вызвали генеральскую улыбку на лице Авербаха. С урбанистом тоже ничего не вышло: он украл перчатки Пастернака и был с позором выгнан. Я чуть не съела Пастернака за перчаточную жадность, но он так в ней раскаивался, что Мандельштам на меня цыкнул. Он пошел к Авербаху и пробовал внушить ему, что комсомол должен не выгонять, а воспитывать, но узнал, что в дни обострившейся классовой борьбы нечего тратить силы на недостойных имени пролетария. Авербах уже в пеленках выучил все слова, и Мандельштам понял, что он далеко пойдет.

В нашем уединении на Якиманке мы замечали обострение классовой борьбы только по тому, как трудно становилось добывать деньги, вернее переводы. Мандельштам еще не вполне осознал, что мы вошли в эпоху организованной литературы – и не только литературы, но и мысли. Летом – на даче Госиздата в Апрелевке – он пожалуется, что «они» допускают его только к переводам. В языке у него появится новое слово «они». Оно существует у всех. Говорят, Никита жаловался, что «они» не дают ему развернуться и заедают за «Ивана Денисовича». Бесконечная лестница, на которой стоящие на верхних ступенях ощущаются как «они» и на них взирают снизу те, кто для нижних тоже «они». При хозяине все завершалось человеком, чье имя и отчество полагалось произносить с соответствующим выражением лица. На человека, забывшего о священном трепете при произнесении имени, писался донос. Неопределенные подозрения излагались устно в отделе кадров или по начальству. «Они» есть и будут, а вот с доносами обстоит хуже. Говорят, что поток ослабевает. Огромное значение имело бы исследование количества доносов по периодам и распределение доносителей по возрасту. Существенны также качество и стиль доноса. К сожалению, социологические исследования у нас не в почете.

Сейчас я в отставке и перестала интересоваться, как идет «ход воспаленных тяжб людских», а тогда – на Якиманке – мы только удивлялись новым веяньям и не верили в их прочность. Мы еще не научились ловить слухи и по косвенным признакам угадывать реальные соотношения. Все, что происходит наверху, всегда тайна, а мы, наивные, не заметили, что на горизонте уже сияет зловещая звезда! Портрет хозяина появился в первый раз на обложке того самого номера «Огонька», в котором впервые была напечатана проза Мандельштама и его отличная фотография в свитере. Такая славная фотография, где он вышел поразительно похожим, была напечатана в самом страшном номере мерзопакостного журнала.

Выбирать, впрочем, не приходится: все номера всех журналов омерзительны, и в каждом есть что-нибудь, от чего хочется бежать на край света, только бежать-то нельзя. А вышел Мандельштам так хорошо, потому что фоторепортеры знают свое дело – если бы не пакостный журнал, у меня бы не было отличной карточки Мандельштама. Фоторепортер снял и меня, потому что иначе Мандельштам отказывался сидеть. Эти фотографии гораздо живее, чем те, которые года через три сделал Наппельбаум, знаменитый фотограф, специализировавшийся на портретах вождей. На портретах Наппельбаума я – приличная дама с застывшим лицом, чего никогда не было, а Мандельштам – утонченный молодой человек, чем даже не пахло. Он отлично выходил на фотографиях, сделанных любым уличным фотографом – «лопаткой из ведерка», – но только не на наппельбаумовских портретах, столь же слащавых, как зарисовки Эренбурга: хилый еврей с могучим голосом.

Гораздо легче сделать портрет вождя, чем поэта. Вождя следует приукрасить, а поэта дать таким, как он есть. Эпоха соцреализма отучила людей смотреть внимательно и непредвзято на предмет изображения. Поэты тем и вредны, что смотрят на мир открытыми глазами. Все прочие находятся во власти готовых представлений и «улучшают» объект, как Наппельбаум.

Зима на Якиманке была единственной в моей жизни безрадостной порой. От стен, что ли, шел мертвящий дух или сами мы потеряли способность радоваться, что я не запомнила

никакой дури, которая нас тешила всегда и всюду. Зато я запомнила, как, возвращаясь поздно вечером от Нарбута в пустом трамвае – пустыми они бывали только к ночи, – мы вдруг заметили, что вагоновожатый остановил вагон в неурочном месте и выскочил на мостовую. Он вернулся с газетой: экстренный выпуск – смерть Ленина. Стояли страшные морозы, а в последующие дни и ночи протянулись огромные многоверстовые очереди к Колонному залу. Мы прошли вечером вдоль такой очереди, доходившей до Волхонки, и простояли много часов втроем с Пастернаком где-то возле Большого театра. Очередь не двигалась, а мы еще боялись, что нас из нее выгонят, – это была какая-то делегация. Остальные, вытянувшиеся в нитку, состояли из обычного черного и мрачного люда. «Они пришли жаловаться Ленину на большевиков, – сказал Мандельштам и прибавил: – Напрасная надежда: бесполезно».

Горели костры, и мы подходили греться – на мне было драповое пальто, лучшее в моей жизни, одно на все сезоны. Мандельштам уже хотел вести меня домой, чтобы я не превратилась в сосульку, как произошел неожиданный случай: по площади прошел Калинин. Вожди еще не разучились ходить пешком. К нему бросились какие-то комсомольцы, требуя, чтобы их провели поскорее. «Требуют себе привилегий», – сказал кто-то из моих спутников. Калинин отогнал комсомольцев обыкновенным здоровым матом. Реакция Калинина нас не удивила – мы еще считали вождей обыкновенными людьми, способными на обыкновенные слова. Нас скорее поразило то, в каком темпе они стали терять человеческие черты.

С Калининым было несколько спутников. Один из них заметил нас – мы стояли в нескольких шагах – и подозвал. Без блата не обошлось – мы прошли с Калининым, нас пристроили в движущуюся очередь, и мы продефилировали мимо гроба. Мы возвращались пешком домой, и Мандельштам удивлялся Москве: какая она древняя, будто хоронят московского царя. Похороны Ленина были последним всплеском народной революции, и я видела, что его популярность создавалась не страхом, как впоследствии обожание и обожествление Сталина, а надеждами, которые возлагал на него народ. Единственный раз за всю мою жизнь Москва добровольно вышла на улицы и построилась в очереди. Люди стояли терпеливо, молча, мрачно. Нигде не было давки, ни малейшей тени Ходынки. Комсомольцы, которых покрывал Калинин, стояли на подступах – в особой короткой очереди для делегаций. Они требовали для себя не просто привилегий, но особых. Начиналась новая жизнь, и такие организованные группы, вероятно, и создали катастрофу на похоронах Сталина: все хотели обскакать соседа хоть на полноздри, хоть на целое ухо... Этого я уже не видела, потому что была далеко от Москвы.

С Якиманки нам пришлось несколько раз ездить в Ленинград, потому что заболел отец Мандельштама. Я уже успела познакомиться с ним – он несколько раз приезжал в Москву по своим кожаным делам, когда мы жили еще на Тверском бульваре, а мы ездили в Ленинград после смерти жены Евгения Эмильевича. В то время переводческий центр переместился в Ленинград и хозяином переводов стал Горлин, сидевший в Доме книги против Казанского собора. В Москве мы доедали последние остатки Барбюса, нудные рассказы которого буквально отравляли нам жизнь, да еще Барбье. Жилищный кризис в Ленинграде, опустевшем и опустошенном городе, был гораздо менее ощутим, чем в Москве, где в каждой комнате жила семья, а в каждом углу приезжие родственники. Так подготавливался наш переезд в Ленинград, уже чуждый Мандельштаму город, где для него оставалась близкой только архитектура, белые ночи и мосты. В один из весенних наездов в Ленинград Мандельштам ночью возил меня по набережным и радовался «чистым корабельным линиям города». Мы смотрели невероятные квартиры на Неве с зеркальными окнами прямо на серую воду. Это были квартиры, брошенные хозяевами, бежавшими из России. Никто их не брал, потому что на ремонт и дрова ушло бы целое состояние. Мы с Мандельштамом только облизнулись, Ахматова же прожила целый год в одной из таких квартир и отлично вписалась в пейзаж, но и ей пришлось оттуда бежать. Мы достали не чудо на Неве, а две прелестных комнаты на Мор-

ской, нечто вроде гарсоньерки, перевезли мебель из Москвы – палисандровую горку, туалет и секретер красного дерева, что-то докупили в Ленинграде – город был завален брик-а-браком – и зажили среди красного дерева, корня карельской березы, старого фаянса и синего стекла. Эту муру я находила на Апраксином рынке, хищным глазом подмечая «удачи»...

Одна беда: в нашей гарсоньерке не было двери. Она, вероятно, отделялась от передней ковром, а может, дверь стопили в голодные годы – в железной печке-«буржуйке». Мы нанимали одного плотника (или это столяры?) за другим, но они исчезали, пропив аванс, пока какой-то чужак не соорудил нам нечто из некрашенных досок такой невероятной грубости, что чрезмерное изящество жилья как-то смягчалось и не лезло в глаза. Петербургский мастеровой разучился работать и презирал нового заказчика.

Так начиналась петербургская идиллия с хождением к Горлину, изредка в гости к Бенедикту Лившицу, где процветал Кузмин, всех нас презиравший и даже не пытавшийся этого скрывать. Его всегда сопровождали Юркун и по-старомодному жеманная, но миленькая Арбенина. Она тихонько рассказала мне подробности своего минутного романа с Мандельштамом, и я убедилась в его неправдоподобной правдивости. Приближался Новый год. К нам пришли встречать Лившицы и друзья Мандельштама еще по дому Синани, случайно приехавшие из Москвы. В общем мы жили одиноко, ни с кем не сходились, а Мандельштам радовался, что у меня наконец есть милый дом и серые боты, которые ходят по Гостиному двору. Мандельштам писал стихи, не предвещавшие беды, шел новый январь, и вдруг все перевернулось.

Нищий

В марте 25 года, насильно увезенная из своей милой, но опоганенной квартирki, я очутилась в маленьком пансиончике в Царском Селе. Петербуржцы, заявил Мандельштам, ездили объясняться в Финляндию, теперь Финляндии нет, приходится довольствоваться Царским... Первую ночь я металась и умоляла отпустить меня на волю: зачем я тебе?.. Зачем ты держишь меня?.. Зачем так жить – как в клетке?.. Отпусти... Я не раз молила его отпустить меня на волю, но в ту ночь особенно настойчиво. Бегство к Т. сулило свободу и, может, возвращение к живописи, хотя я уже понимала, что в ней я случайный гость (почти все, кто занимается поэзией и живописью, делают это из самоуслады и принадлежат к категории случайных гостей). Мало того, неудача давала мне право на самоубийство. Я была уверена в своем праве на уход из жизни, если она мне не улыбнется, а Мандельштам это право начисто отрицал. Ему в Москве донесли, что я раздобыла пузырек с морфием и держу его на случай жизненной неудачи. Он силой отобрал его у меня, хотя я царапалась, как кошка, и вырвал обещание нового не заводить. Будь у меня мой пузырек, я бы использовала его на Морской вместо того, чтобы сидеть у камина. Надо прожить жизнь, чтобы понять, что она тебе не принадлежит.

Для меня все же остается один вопрос: не оправданно ли самоубийство, если оно дает возможность избежать не только мерзости наших лагерей и тюрем, но и пыток, под которыми люди оговаривали кого попало? К мысли о самоубийстве я вернулась после смерти Мандельштама, но только тешила себя этой мыслью, потому что никуда не могла уйти от его наследства. Мне кажется, что, умри я первая, Мандельштам бы без меня долго не прожил; в нем было что-то от зверька, который так мечется в клетке, что разбивается насмерть. Мне совестно, что я оказалась долгоживущей. Понимает ли он, что я жила только ради него? Чтобы оказаться такой стойкой, надо было вместе пройти весь путь и видеть, как травят моего зверя. В 25 году ни близости, ни стойкости еще не образовалось, и я рвалась на волю. Он же только молил: не губи нашей жизни...

В моей тяге на волю живопись была только предлогом. Мандельштам успел мне внушить: если человек не работает, значит, ему нечего сказать, внешние помехи только отговорка пустопорожних болтунов. От него я впервые услышала, что нужно иметь, «что сказать». Остальные говорили только потому, что им хотелось говорить. Я понимала, что он прав, но пыталась заткнуть уши. Во всем, чего он требовал от меня, была мысль, был внутренний стержень, а у всего моего поколения только тяга к легкой жизни и к легковесной свободе. В наших ссорах и спорах я никогда открыто не сдавалась, но не могла не чувствовать его внутреннюю правоту. Однажды в Москве я сидела на Тверском бульваре и плакала от какой-то очередной обиды. Со мной был Клима Редько, художничек из моего киевского табунка. Он жил с богатой дамой-покровительницей и тут же придумал выход, как избавить меня от Мандельштама: «Идем со мной, – сказал он, – я заставлю ее взять и вас...» – «Она выгонит нас обоих», – возразила я. Климочка знал себе цену: «Попробует только! Идем...» – «А ведь Оська прав», – неожиданно сказала я и, оставив ошарашенного Климочку посреди бульвара, ушла в свое логово, где меня ждал разъяренный Мандельштам. В Москве речь шла о чем-нибудь вроде «ты» и «вы», но в Царском была права я. Мандельштам соглашался, что он кругом виноват, и только повторял, что наша жизнь дороже и важнее всех метаний и ошибок: «Пойми это...» – «Как смел ты допустить, чтобы Ольга приходила издеваться надо мной? Чего еще от тебя ждать?.. Отпусти...»

Наутро в нашу комнату вошла Мариэтта Шагинян. Это было первое событие, заставившее нас рассмеяться. Выяснилось, что она наша соседка и живет в соседней комнате за тоненькой переборкой. Не будь она глуха как тетерев, ей поневоле пришлось бы узнать уйму

вещей, которых я не открываю и в этих откровенных записках. Нам здорово повезло, что рядом очутилась именно она, глухая зануда, размышлявшая о Ленине и Гёте и находившая прямую связь между штейгерским молотком и полезной деятельностью Фауста и знаменитым планом электрификации нашей молоденькой социалистической страны. Хоть и глухая, Мариэтта почуяла что-то неладное и надавала кучу советов. Основной совет: пореже принимать ванны, потому что современная медицина против ванн. Второй совет: довериться ее другу, замечательному врачу, и влюбиться в него. Между прочим вопрос, знакома ли я с ее мужем (армянки ревнивы). Через час она привела врача, у которого был вид факельщика. Он цедил многозначительные слова, а я так нафыркала на него, что Мандельштам дал мне по голове, и мы опять рассмеялись. Вскоре Мариэтта уехала со своим замогильным спутником, и мы окончательно развеселились.

В тот же день произошло еще одно событие: приехал Пунин, искавший, куда бы пристроить Ахматову, – у нее началось обострение туберкулеза, предвестник петербургской весны. Он обрадовался, встретив нас, и обещал на следующий день привезти Ахматову. Мандельштам не поверил – она не придет. У Ахматовой был дар ускользать от друзей. Я это знаю и по себе: как будто мы были очень нужны друг другу, с трудом расстаемся, а потом – ни слова, ни звука, ничего... А Мандельштаму в давние годы она вдруг сказала, чтобы он пореже бывал у нее, и он взбесился, потому что никаких оснований не было. Она же объясняла этот поступок – приличием («Что скажут люди?») и заботой о мальчике («А что, если бы он в меня влюбился?»)... Мандельштам называл это «ахматовскими фокусами» и смеялся, что у нее мания, будто все в нее влюблены. Для меня «фокусы» назывались «старомодными петербургскими штучками». Я находила их и у Мандельштама. В начале нашей дружбы, проведя весь день со мной, примелькавшись всем прохожим, знакомым и незнакомым, он подходил ко мне в «Хламе» и церемонно здоровался. Так полагалось у них в «Собаке», но в моем вольном поколении казалось смешным и глупым. Что, собственно, скрывать? Я могла бы пощадить родителей, но они старательно ничего не замечали, лишь бы я от них не ушла. Игра в тайну быстро провалилась.

А в Царское Ахматова все-таки приехала, и ее приезд таинственным образом снял наши раздоры. Она тут же собрала всю информацию: кое-что ей рассказал Мандельштам, конечно, я, да еще Т., который так и не сообразил, что был втянут в эту историю только из-за жилищного кризиса. Она всем посочувствовала, повздыхала, но никаких советов не дала. Умница, она знала, что советов давать не надо. Я очень ценю последнюю формулу Ахматовой: «Пусть сами разбираются со своими бабами».

До встречи в Царском я с Ахматовой была еще мало знакома. Мандельштам водил меня к ней раза два, о чем я расскажу попозже, да еще раз она приходила к нам на Морскую – осенью 24 года, когда мы только переехали из Москвы. Она застала меня одну – Мандельштам поехал в Москву за мебелью. Я была в той самой полосатой пижаме, которую Георгий Иванов принял за мужской костюм, и вдругхватила, что у меня нет папирос. Мне не захотелось переодеваться, чтобы выбежать на улицу, и я послала за папиросами ее: «Сбегайте, Анна Андреевна, а я пока поставлю чай...» Она навеки запомнила этот случай и в Ташкенте рассказывала всем, как я с ней обращалась: «И я побежала, как послушная телка...» Ей надоел «большой сюсюк» женщин-читательниц, устраивавших вокруг нее сентиментальный балаган, но она так к нему привыкла, что не могла забыть, как ее послали за папиросами. Хорошо, что я погнала ее, а не Радлову. Та бы повествовала о наглых одесситах, которых привозят в священный город незадачливые поэты.

Настоящая дружба началась у нас с Ахматовой на террасе пансиончика, где мы лежали закутанные в меховые полушубки, дыша целебным царскосельским воздухом. Он действительно оказался целебным, раз мы обе выжили. Хозяин пансиончика, повар Зайцев, ежедневно ездил в Ленинград к фининспектору, спасая свое частное предприятие от полного

разорения, и мы часами ждали, чтобы он вернулся и накормил нас. Частный сектор в нашей стране изничтожался как в литературе, так и в поварском деле, а казенная пища, как и литература, вызывает несварение желудка. В 1926 году, когда мы вернулись в Царское зимогорами, пансиона Зайцева уже не существовало. Фининспектор съел его. Дольше всех держался пансион, хозяева которого были родственниками Урицкого. (Туда-то и ушла наша баптистка-повариха.) Для того чтобы держать крошечный пансиончик, требовались связи с правительственными кругами. В 37 году все рухнуло – родственников Урицкого пересажали, как и вообще всех... Одну из них, жену поэта Спасского, обвинили в том, что она хотела взорвать памятник своему дяде, а такого памятника вообще не было. Следовательно, конечно, с разрешения высоких инстанций «забавлялись» зловещими шутками. Особенно страшно это проявлялось в Ленинграде. Сам Спасский тоже «уехал», как член террористической группы, возглавляемой ни более ни менее как Фадеевым и еще кем-то – не то Алексеем Толстым, не то Тихоновым. Ассоциативные ходы советской женщины всегда ведут к одной и той же теме...

Прогоравший повар по возвращении жарил на крошечных сковородках удивительные котлеты, блинчики или телячьи отбивные, и мы наслаждались его искусством. Возродиться ему не суждено. Говорят, оно на ущербе во всем мире, но нигде оно не падало так стремительно, как у нас. С поэзией тоже обстоит плоховато, но последние поэты держались до последнего издыхания.

Терраса еще была завалена сугробами подтаявшего снега, но солнце уже чуть грело сквозь грязные стекла, на которых накапливалась пыль с семнадцатого года. Мы с Ахматовой непрерывно мерили температуру и радостно ждали смерти. В те годы Ахматова не знала страха смерти, и он охватил ее в последнее – такое мирное! – десятилетие жизни. Я и сейчас не знаю этого страха и не верю, что он когда-нибудь проймет и меня. Неужели все подвластно ему?.. На царскосельской террасе жизнь в нас еле теплилась. Мы обе были такие слабые, что еле передвигали легкие шезлонги, когда к нам подбиралось солнце. Нам велели сидеть только в тени и остерегаться даже мартовского солнца. Все было под запретом для нас, таких молодых, слабых и веселых... Мандельштам и Пунин пили вино, шутили и непрерывно дразнили нас. Мы отдраживались. «Все они хороши, когда женихи», – вспоминала об этой поре Ахматова, подыгрывая под бойкую бабенку. Роман с Пуниным был в самом цвету. Ее вещи еще находились в Мраморном дворце в комнатах Шилейко, переехавшего в Москву. Пунин собирался перевезти барахло на Фонтанку, где жила его жена с дочерью. Ахматова была в смуте. Она как-то напугала Мандельштама, когда, идя к себе в комнату, вдруг остановила его и сказала: «Не уходите – с вами все-таки легче...»

Он рассказал мне про это, удивляясь (мы всегда удивлялись друг другу): «Чего она дурит? С Пуниным у нее все в порядке, а она изображает раненую птицу...» Ему всегда казалось, что все в порядке, а на самом деле в нашей жизни ничего похожего на порядок не было.

Однажды к нашей террасе пробрался совершенно изнеможенный нищий. Он шел с трудом, проваливаясь в чуть подтаявший снег. Это произошло в первые недели или даже дни нашей царскосельской жизни, потому что потом наши шезлонги выносились на сухой асфальт перед домом – во дворик. Мы высыпали нищему все, что было у нас в сумочках, стыдясь скудости подаяния, а он ушел, пораженный нашей щедростью. Эпизод с нищим оказался началом настоящей, а не календарной дружбы между нами, потому что я призналась, как щемит у меня сердце при виде нищих – долго ли моему отцу, матери, братьям и сестре до того, чтобы пойти с протянутой рукой?.. На эти слова она откликнулась сразу: ее мать и сестра погибали где-то на юге, а братья, Виктор и Андрей, исчезли. Не помню, дошла ли до нее уже весть о самоубийстве Андрея, но мы часто говорили с ней о нем. Я как-то жила с отцом в Севастополе, а он повадился ходить к нам и мне, еще подростку, рассказывал про

сестру, про ее брак и развод с Гумилевым. С его слов я знала, что в семье всегда считали этот брак обреченным на неудачу и потому никто не пришел в церковь на венчание. Ахматова подтвердила, что так и было. Ее оскорбляло отношение семьи... Про второго брата, Виктора, ей сказали, что он расстрелян в Ялте. Слух шел такой: тела сбросили с мола в море, а наутро море было спокойное и прозрачное и на дне лежали еще не всплывшие трупы. Подобных рассказов ходило множество – кто их проверит? Но к двадцати годам я уже видела столько трупов и убийств, что не хотела глядеть на Божий мир.

Надо прожить нашу жизнь, чтобы узнать одну истину: пока трупы валяются на улицах и на больших дорогах, еще можно жить. Самое страшное наступает, когда уже не видишь трупов. Пока «по улицам Киева-Вия ищет мужа не знаю чья жинка», в жизни еще сохраняется что-то человеческое. Когда «чья-то жинка», подкрасив губы, идет на службу, жить уже нельзя.

К приходу нищего мы уже испытали немало: потерю близких, страх, полное обнищание, первый голод в полной мере. Она пережила его в Петербурге, простаивая часы в очереди за пайком Шилейко, а я – бродяжничая по стране. Мандельштам писал про себя: «Я, оборванец каторжного вида с разорванной штаниной...» Такими были все, кто оторвался от дома в гражданскую войну, потом все беженцы Второй мировой войны, а про лагерников и говорить нечего. Недаром в языке появилось новое слово «доходяга» – смерть на ходу. Голодающие крестьяне, которые умирали на нетопленной печи, в буквальном смысле доходягами не были, но их братья – депортированные и бежавшие из деревни в конце двадцатых годов – вполне вмещаются в категорию доходяг. Все это мы видели и за все отвечаем. Разве мы не ели отобранный у них хлеб?

«Дети, вы обнищали, до рубища дошли» – понятно всем матерям и всем блудным сыновьям нашей эпохи. К счастью, мать Мандельштама умерла до катастрофы, отец же умирал в 38 году, совершенно брошенный младшим сыном, и все ждал в больнице, что появится старший и спасет его. Он не знал, что сын сидит на Лубянке и готовится к смерти. В пору моей встречи с Ахматовой я испытывала непрекращающуюся боль при мысли о брошенных стариках, о пропавшем брате – где и как он погиб? – и о насмерть испуганной сестре. Ахматова остро ощущала собственную нищету и беспомощность – иначе она вряд ли согласилась бы на переезд к Пуниным, – горькую долю сестры и матери, разлуку с сыном, а также бедствия страны, людей, братьев. Моя мысль про нищего оригинальностью не отличается, но чувство принадлежит далеко не всему разворошенному муравейнику. Люди нашего круга, если у нас был круг, в чем я сомневаюсь, старались не вспоминать бедственные годы и думать, что все худшее осталось позади. Поразительная черта, свойственная огромному большинству людей, – считать, что все страшное провалилось в бездну времени, а впереди – в будущем – цветут розы. Только этим ощущением люди живы. Те немногие, которые чувствуют будущее, часто теряют способность жить настоящим, таким страшным видится им то, что предстоит. Ахматова, Кассандра, как ее назвал Мандельштам, с ужасом глядела не только назад, но и вперед, предчувствуя испытания и горести, хотя 25 год был еще сравнительно тихим. Мандельштам, а следовательно, и я, тоже был охвачен тревогой, хотя и не терял способности наслаждаться настоящим. (Я не могла.) Тревога чуть-чуть смягчилась в годы, когда мы жили в Ленинграде и в Царском (1924–1927). Он тогда слегка поддался пропаганде на высшем уровне: «это последние расстрелы и последние бедствия, чтобы потом никогда не было ни расстрелов, ни бедствий...» Точно так гражданская война считалась последней войной, чтобы потом никогда не было войн...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.